Вступительное слово от организаторов викторины

Какой была бы наша жизнь, если бы сны сбывались, люди могли по желанию превращаться в зверей, а полеты на драконе стали такими же привычными, как поездки на автобусе? Примерно на этот вопрос и отвечают авторы книг в жанре магического реализма, создавая миры, где грань между реальностью и фантазией полностью размывается, а магия становится обычной частью жизни.

Магический реализм – это художественный метод, который используется в литературе, искусстве, кино. Его главная особенность – соединение обычного и сверхъестественного в одном пространстве: в киносцене, на картине, в главе книги. Авторы и художники органично вписывают чудеса и волшебство в повседневный быт героев и стирают границу между магией и реальностью.

В 1925 году немецкий искусствовед Франц Ро предложил термин «магический реализм» для описания особого стиля живописи. Литературный магический реализм возник чуть позже, в середине прошлого века. Известность этот жанр получил уже в Латинской Америке – именно с ним связаны имена Ж. Амаду, Г. Г. Маркеса, Х. Л. Борхеса, Кортасара. Позже к этому направлению примкнули М. Павич, Г. Петрович, С. Рушди, К. Р. Сафон, М. Фрай, В. Пелевин и многие другие. Их герои живут то ли в реальности, то ли в сказке, а магия и волшебство в их книгах безусловны и не требуют объяснения.

Обыденность магии, символизм и метафоричность, искажение времени и пространства, обращение к фольклору и мифологии, отсутствие объяснений магии – вот черты, которые объединяют произведения этого направления.

Таким образом, магический реализм – это не просто набор приёмов, а особый способ взглянуть на мир, в котором повседневное таит в себе неизведанные, волшебные глубины. Как отмечал известный филолог и искусствовед А. Дежуров, читая Магов (так называют писателей магического реализма), мы учимся видеть волшебство в нашей повседневной жизни.

Вашему вниманию предлагается 7 текстов, расположенных в порядке от основателей направления к современным произведениям.

P. S. Если в предложенном к прочтению тексте присутствуют ссылки, они расшифровываются в примечании после этого текста.

Хорхе Луис Борхес

Бессмертный

Solomon saith: *There is no new thing upon the earth.* So that as Plato had an imagination, *that all knowledge was but* remembrance; so Solomon giveth his sentence, *that all novelty is but oblivion*.[1]

Francis Bacon. Essays L VIII

В Лондоне, в июне месяце 1929 года, антиквар Жозеф Картафил[2] из Смирны предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715–1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимися чертами лица[3]. Столь же легко, сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом – на испанский, каким пользуются в Салониках[4], а с него – на португальский язык Макао[5]. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стовратых Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике, у самого Красного моря; многие из тех, кто горел желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены; земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона[6]; и тщетно поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в

лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи, и я, должно быть с горя, отправился через страшные, безбрежные пустыни на поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал – всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река эта – Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, – печально отозвался он, – потаенную реку, что смывает с людей смерть!» Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие[7]. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то – вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии[8], дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов[9], которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища – львятина; земли Авгилы, которые почитают только Тартар[10]. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет

молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь – отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обративши лицо к луне, – лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя – бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней, я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ощетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукою человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка; а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал – то было совершенно очевидно – Город Бессмертных. Яувидел стены, арки, фронтисписы и площади: город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких

дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиной руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: «*Богатые жители Зелы, пьющие воды Эзепа*…»[11]

Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть – это я-то, Марк Фламиний Руф[12], военный трибун римского легиона, – свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков, почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос – не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, но отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на

черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными остриями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день.

Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале. И ее крутые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, – от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром; и не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверями и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую – о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издалека упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное великолепие из гранита и мрамора.

И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе, как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного дворца. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец – творение богов*, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: *Боги, построившие его, умерли*. А заметив, сколь он необычен, сказал: *Построившие его боги были безумны*[13]. И сказал – это я твердо знаю – с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел, как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры, тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот город*, подумал я, *ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и*

бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования. Я не хочу открывать этот город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша, кишащая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, – вот что такое этот город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле – так, наверное, тяжко было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

III

Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне, и кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я,

способны на первое; многие птицы, к примеру соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно – и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось – очень далеко. Словно маленький, разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами; и, может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними – годы, и однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии[14] ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, исступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы[15], на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. «Аргус, – крикнул я ему, – Аргус!»

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и позабытое, Аргус сложил такие слова: *Аргус, пес Улисса*. И затем, все так же, не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку*.

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

Очень мало, ответил он. *Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил*.

IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток – той самой Рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем – ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мяса солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе Бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем – войну мышей и лягушек[16]. Подобно богу, который сотворил сперва вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмертным – божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то. как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей, и ни одна из них не определяет целого… Наученная опытом веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравновешиваются, талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может статься, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде»[17] – необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог»[18] или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие… А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они – совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый бессмертный – сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа: я – бог, я – герой, я – философ, я – демон, я – весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня, как такового, – нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкою из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро – древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравновешивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу Земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *Есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на Земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают.* Число рек на Земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведает воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность – невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) – лишь отголосок других, которые уже случались в затерявшемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не

устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорбь не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

V

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту[19], не помню, на чьей стороне – не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли. В VII веке хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворике, я много играл в шахматы. В Биканере[20] я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре[21], потом – в Лейпциге. В Абердине[22] в 1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста[23]; его доводы показались мне неопровержимыми. Четвертого октября 1921 года «Патна»[24], который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у Эритрейского побережья[25]. Я сошел на берег; мне вспомнились другие утра – утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинуясь привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. «Я снова смертен, – повторял я, – снова похож на других людей». Ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась фальшь. Возможно, виною тому – злоупотребление подробностями; такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут

изобиловать дела, но не память… Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки – Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти – также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем, в головоломном дворце, он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-Морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится, inter alea[26]: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер в XIII веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит, по прошествии многих столетий, в северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом[27].

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс[28]; скоро стану всеми людьми – умру.

P.S. Год 1950-й. Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейски озаглавлен «A coat of many colours»[29] (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордоверо. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о центонах[30] из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «Virgilius evangelizans» Александра Росса, приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния (Historia naturalis, V, 8); во второй – из Томаса Де Куинси («Сочинения», III, 439); в третьей – из письма Декарта[31] послу Пьеру Шану; в четвертой – из Бернарда Шоу («Back to Methuselah», V). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. *Когда близится конец*, пишет Картафил, *от воспоминания не остается образа, остаются только слова*. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, – вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.

Примечания

В основе замысла – поэтические метафоры Уолта Уитмена: «Я знаю, что я бессмертен» и «Я сам жду, чтобы пришло мое время, когда я сделаюсь одним из богов» (Песнь о себе. 20; 41). На сюжет новеллы могла повлиять история Картафила, рассказанная Томасом Брауном в «Pseudodoxia epidemica» (Кн. VII. Ч. 17).

1

Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое.

Френсис Бэкон. Опыты LVIII

2

Картафил – персонаж христианской легенды позднего средневековья; отказал в кратком отдыхе Христу, восходящему на Голгофу, за что был обречен скитаться до второго пришествия. Впервые упомянут в «Большой хронике» Матвея Парижского (ок. 1250).

3

Портрет эстета-интеллектуала, ведущего замкнуто-созерцательный образ жизни; объединяет Дез'Эссента («Наоборот» Гюисманса), Эдмонда Тэста («Вечер с Эдмондом Тэстом» Валери) и Фунеса («Фунес памятливый» Борхеса).

4

Речь идет о диалекте сефардов, т. е. испанском варианте еврейского языка; после изгнания евреев из Испании (1492) большая группа их переселилась в Грецию.

5

Диалект португальской колонии в китайской провинции Квантун, где, по преданию, классик португальской литературы Луис де Камоэнс завершил работу над «Лузиадами».

6

Т. е. бога царства мертвых.

7

Мотив поиска священной реки переиначивает магистральный сюжет романа Киплинга «Ким» (1900): один из его персонажей ищет реку, воды которой избавляют человека от бесконечных перерождений души.

8

Гетулия – Область на северо-западе Африки.

9

Имеется в виду район между Ливией и Красным морем, скорее всего Южная Эфиопия; по мнению Аристотеля, Диодора Сицилийского, в пещерах обитали полулюди-полуживотные. Ксенофонт считал родиной троглодитов Армению.

10

В греческой мифологии последняя, самая страшная часть подземного царства, окруженная рекой Флегетон; в ней томятся Тантал, Титий, Сизиф.

11

Гомер. Илиада. Песнь II.

12

Возможно, Борхес пользуется именем Галла Руфа, героя стихотворения «Метемпсихоз» Рубена Дарио.

13

Архитектурные постройки с нарочитым искажением симметрии и классических пропорций впервые были запечатлены Джамбаттистой Пиранези (1720 – 1778) в серии гравюр «Тюрьмы, сконструированные Пиранези»; идея архитектурной бесконечности, размыкающей пространство гравюры (вместе с винтовой лестницей, уводившей в беспредельность) использована также и в новелле «Вавилонская библиотека».

14

Т. е. из области на востоке Греции.

15

Кибела – в греческой мифологии – покровительница государственного благосостояния, богиня плодородия. Иногда отождествляется с «матерью богов».

16

Речь идет о «Батрахомиомахии», греческом ирои-комическом эпосе, пародирующем «Илиаду». Написан не ранее V в. до н. э., иногда приписывается Гомеру.

17

«Песнь о моем Сиде» (ок. 1140) – Испанская героическая поэма, сохранилась в рукописи 1307 г.; идеализирует как христианского героя крупнейшего испанского воина-авантюриста Родриго де Бивара (1040 – 1099), сражавшегося и на стороне мавров, и на стороне христиан.

18

«Эклоги» – т. е. «Буколики» Вергилия.

19

Стэмфордбридж. близ Йорка – место сражения между отрядами норвежского короля Харальда Сигурдарсона, который погиб в этом бою 25 сентября 1066 г., и войсками последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона; последний погиб позднее, в битве при Гастингсе в октябре того же года, сражаясь с норманнскими войсками Вильгельма Завоевателя (ок. 1027 – 1087); у Борхеса оба эти события соединены.

20

Биканер – Город в Западной Индии.

21

Коложвар – Город в Венгрии, ныне Клуж (Румыния).

22

Абердин – Город-порт в Шотландии.

23

Джамбаттиста – Имеется в виду Джамбаттиста Вико.

24

«Патна» – Судно из романа Джозефа Конрада «Лорд Джим», на котором из Бомбея отправляются 800 мусульман, совершающих паломничество в Мекку.

25

В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта.

26

Между прочим (лат.)

27

Эрнесто Сабато предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер – персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу.

28

Спасаясь из пещеры циклопа Полифема, Одиссей (Улисс) называет себя Никто, чтобы циклоп не смог использовать против него знание его имени (Одиссея. IX, 369).

29

Здесь: «Лоскутное покрывало» (англ.). Так в английской традиции называется праздничная накидка (кетонет), которую Иаков дарит Иосифу в знак благословения (Быт. 37:3) и которую срывают с него братья, бросая в колодец (37, 23).

30

(от лат. cento – одеяние из лоскутов) – стихотворение, сложенное из заимствованных строк; в античности материалом для центонов служили произведения Гомера и Вергилия. С этим мотивом «лоскутности» сопоставимо греческое название жанра средневековых сборников – «строматы», среди которых наиболее известен часто цитируемый Борхесом труд Климента Александрийского.

31

В письме от 6 июля 1647 г. приводится поверье эфиопов об умении, но нежелании обезьян говорить, чтобы люди не принудили их работать.

Жоржи Амаду

Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода

Пусть о своем погребении каждый заботится сам. На свете нет ничего невозможного.

(Последние слова Кинкаса Сгинь Вода, по свидетельству Критерии, находившейся возле него.)

I

Обстоятельства смерти Кинкаса Сгинь Вода остаются не вполне ясными до сего дня. В рассказах очевидцев, полных противоречий и странных подробностей, кое-что сомнительно, а о многом вообще умалчивается. Относительно места и часа смерти, а также последних слов покойного показания расходятся. Семья Кинкаса при поддержке соседей и знакомых упорно отстаивает версию, согласно которой он скончался утром, тихо, без свидетелей и при этом не произносил никаких громких фраз. Эта смерть произошла почти за двадцать часов до той, нашумевшей, вызвавшей столько толков романтической его гибели среди ночи, при свете луны, поднимавшейся над морем, когда таинственные события разыгрывались у входа в гавань Салвадора. Последние слова Кинкаса, произнесенные им в присутствии заслуживающих доверия свидетелей, обсуждались по всем улочкам и закоулкам; люди говорили, что это было не просто прощание с миром, а прорицание, пророчество, полное глубокого смысла, как выразился один молодой современный писатель.

Несмотря на свидетельства людей, заслуживающих доверия, – среди них были Рулевой Мануэл и Пучеглазая Китерия, женщина отнюдь не болтливая, находятся все же лица, подвергающие сомнению достоверность не только великолепной предсмертной фразы, но и всех других событий той памятной ночи, когда Кинкас Сгинь Вода в час, который трудно определить точно, и при обстоятельствах, до сих пор вызывающих споры, погрузился в пучину моря, отправившись в вечное странствие, из которого никто не возвращается. Таков наш мир, населенный скептиками и маловерами; подобно быку в ярме, эти люди сгибаются под игом порядка и законности, им понятны только заурядные поступки, они верят только бумаге с печатью. С

торжествующим видом показывают они свидетельство о смерти Кинкаса, подписанное врачом около полудня, и этой жалкой бумажкой – только потому, что на ней напечатаны буквы да налеплены гербовые марки, – думают умалить значение предсмертных часов Кинкаса, Сгинь Вода, столь славно им прожитых, перед тем как отправиться в последний путь по собственной доброй воле, о чем он громко и членораздельно объявил друзьям и всем присутствовавшим.

Семья покойного: его достойная дочь, добропорядочный зять – чиновник с видами на хорошую карьеру, тетя Марокас и младший брат – торговец со скромным кредитом в банке, – утверждает, что вся эта история – просто грубое надувательство, измышление плутов и горьких пьяниц, негодяев, стоящих вне закона и выброшенных из общества (всех этих приятелей Кинкаса следовало бы упрятать за решетку, вместо того чтобы разрешать им бродить по улицам и пляжам и шататься ночами в порту). Родственники Кинкаса без всяких оснований сваливают на его друзей ответственность за нищенское существование, которое он вел в последние годы, когда стал позором семьи и доставлял всем одни огорчения. Дошло до того, что родные Кинкаса вообще перестали упоминать его имя, о его похождениях никогда не говорили в присутствии детей – для невинных крошек блаженной памяти дедушка Жоаким давно уже скончался, вполне благопристойно, окруженный почестями и всеобщим уважением. Отсюда можно сделать вывод, что впервые Кинкас умер (если не физически, то по крайней мере морально) еще несколько лет назад и, следовательно, в общей сложности умирал трижды; последнее обстоятельство позволяет считать его, своего рода рекордсменом, так сказать, чемпионом по части перехода в лучший мир, и в то же время дает основания предполагать, что все последующие события, начиная с засвидетельствования смерти и кончая моментом погружения Кинкаса в море, представляют собою комедию, разыгранную им с целью еще больше испортить жизнь родственникам, отравить им существование, опозорить и сделать их предметом уличных пересудов. Кинкас отнюдь не был человеком уважаемым и достойным, несмотря на почтение, с которым к нему относились его партнеры отчасти за то, что ему удивительно везло в игре, отчасти за его способность потреблять кашасу в неограниченных количествах, сопровождая выпивку усладительной беседой.

Не знаю, удастся ли мне полностью раскрыть тайну смерти Кинкаса Сгинь Вода (или его последовательных смертей), однако я предприму эту попытку; ведь и сам покойник не раз говорил, что главное – это пытаться что-либо сделать, даже невозможное.

II

Бездельники, болтавшие всюду – на улицах, площадях, в переулках, на базаре Агуа-дос-Менинос – о последних минутах Кинкаса, оскорбляли тем самым память умершего. Появилась даже книжонка с бездарными стишками, воспевавшими его смерть, сочиненная местным рифмоплетом, и на нее долгое время не прекращался спрос. А ведь память об умершем, как известно, священна и существует вовсе не для того, чтобы пьяницы, игроки и контрабандисты, торгующие маконьей, оскверняли ее, а также не для того, чтобы служить темой пошлых куплетов, распеваемых уличными певцами у входа в подъемник Ласерды[1], где бывает столько приличных людей, включая сослуживцев Леонардо Баррето, добропорядочного зятя Кинкаса. После смерти чедовек вновь обретает всеобщее уважение, каким некогда пользовался, даже если он и совершал в своей жизни безумства. Невидимая рука смерти стирает все пятна, и память покойного сверкает, как бриллиант. Таково было мнение семьи Кинкаса, и его всецело разделяли соседи и друзья. Они считали, что Кинкас Сгинь Вода после смерти снова стал прежним, всеми уважаемым Жоакимом Соаресом да Кунья – человеком из хорошей семьи, с размеренной походкой, гладко выбритой физиономией, образцовым чиновником налоговой конторы, носившим черный альпаковый пиджак и портфель под мышкой. Соседи, бывало, почтительно выслушивали его мнения о погоде и политике, в баре его никогда не видели, ибо он пил только дома и в весьма умеренных дозах. Проявив усердие, достойное всяческих похвал, семья Кинкаса сумела добиться того, что в обществе в последние годы считали его умершим и хранили о нем светлую память. Если почему-либо приходилось вспоминать Кинкаса, о нем говорили в прошедшем времени. Однако, к несчастью, время от времени то кто-нибудь из соседей, то один из сослуживцев Леонардо, а то болтливая подруга Ванды (его опозоренной дочери) встречали Кинкаса или слышали рассказы о нем. Получалось так, будто мертвый вставал из могилы, чтобы

запятнать собственную память: его видели пьяным среди бела дня у входа на рынок, грязного и оборванного, иногда он играл засаленными картами на паперти церкви Пилар или бродил по Ладейре-де-Сан-Мигел в обнимку с бесстыдными негритянками и мулатками, распевая хриплым голосом бог знает что. Какой ужас!

И вот наконец однажды утром торговец фигурками святых с Ладейры-до-Табуан пришел в небольшой, но уютный домик семьи Баррето и с грустью сообщил дочери Кинкаса Ванде и его зятю Леонардо, что старик протянул ноги в своей жалкой конуре. У супругов вырвался дружный вздох облегчения. Наконец-то бродяга Кинкас перестанет безобразничать, тревожить тень отставного чиновника налоговой конторы Жоакима Соареса да Кунья и втаптывать в грязь его имя. Настало время заслуженного отдыха. Теперь можно свободно говорить о Жоакиме Соаресе да Кунья, отзываться о нем с похвалою, как об образцовом чиновнике, супруге, отце и гражданине, приводить детям в пример его добродетели, учить их уважать память деда, не опасаясь какого-либо подвоха.

Торговец фигурками святых, худощавый седой старик, пустился в подробности: некая негритянка, продавщица мингау[2], акараже[3], абара[4] и других яств, пришла в то утро к Кинкасу по важному делу. Он обещал ей раздобыть редкие травы, крайне необходимые для кандомбле[5]. Негритянка явилась за травами, они ей были срочно нужны, так как приближалось время священных празднеств в честь Шанго[6]. Дверь комнаты на верхней площадке крутой лестницы была, как обычно, отперта. Кинкас давно уже потерял свой огромный старый ржавый ключ. Говорили, что в один из злополучных дней, когда ему не везло в карты, он продал его туристам под видом священного ключа от какой-то церкви, рассказав при этом длинную историю, строго придерживаясь хронологии и уснащая повествование живописными деталями. Негритянка окликнула Кинкаса, но не получила ответа и, решив, что он еще спит, толкнула дверь. Кинкас улыбался, растянувшись на койке, на черной от грязи простыне, в ногах – истрепанное одеяло. Улыбался он приветливо, как всегда, и негритянка не заметила ничего особенного. Она спросила об обещанных травах. Кинкас улыбался и молчал. Из дырявого носка выглядывал большой палец, рваные ботинки стояли на полу. Негритянка хорошо знала Кинкаса и привыкла к его чудачествам. Она уселась к нему на

кровать и сказала, что торопится. Ее удивило, что старик не протянул руки, чтобы ущипнуть или погладить ее. Взглянула еще раз на торчащий палец... и ощутила какое-то беспокойство. Потом дотронулась до тела Кинкаса, взяла его холодную руку в свои, отбросила ее, вскочила и в тревоге выбежала на улицу, чтобы рассказать о случившемся.

Дочь и зять без всякого удовольствия слушали всю эту историю. Негритянка, травы, щипки, кандомбле...

Они качали головами и торопили торговца; однако тот был человек обстоятельный и рассказывал со вкусом, входя в детали. Он один знал о существовании родственников Кинкаса – как-то вечером, во время большой попойки тот рассказал ему о себе, и вот теперь торговец пришел сюда. Он сделал сокрушенное лицо, выражая свое «глубокое соболезнование».

Леонардо пора было идти на службу. Он сказал жене:

– Иди туда, я зайду в контору и тотчас приду тоже. Надо только расписаться в табеле. Я поговорю с начальником...

Торговца ввели в гостиную и усадили на стул. Ванда пошла переодеться. Старик принялся рассказывать Леонардо о Кинкасе: на Ладейре-до-Табуан все любили его как родного. Но все-таки почему же он, человек из хорошей, обеспеченной семьи – в чем торговец получил теперь возможность сам убедиться, удостоившись чести познакомиться с его дочерью и зятем, предпочел жизнь бродяги? Какая-нибудь неприятность? Должно быть, так, без сомнения. Может быть, супруга наставила ему рога? Это ведь нередко случается. Торговец приставил пальцы ко лбу, изображая рога, и развязно осведомился, угадал ли он.

– Дона Отасилия, моя теща, была святой женщиной!

Торговец поскреб подбородок: тогда в чем же дело? Но Леонардо не ответил, Ванда окликнула его из спальни.

– Надо сообщить...

– Сообщить? Кому? Зачем?

– Тете Марокас и дяде Эдуарде... Соседям. Пригласить на похороны.

– Зачем же сразу сообщать соседям? Люди и так им скажут. А то начнутся всякие разговоры...

– Но тете Марокас...

– Я зайду по дороге из конторы, поговорю с нею и Эдуардо... Иди скорее, а то этот тип, что пришел известить нас, пойдет болтать направо и налево...

– Подумать только... Умереть так... и совсем один...

– А кто виноват? Он сам, безумец...

В гостиной торговец статуэтками святых любовался писанным масляными красками портретом, изображавшим Кинкаса пятнадцать лет назад – хорошо одетый, розовощекий сеньор, в высоком воротничке и черном галстуке, с закрученными усами и напомаженными волосами. Рядом, в такой же раме, дона Отасилия, в черном платье с кружевами, с пронзительным взглядом и сурово поджатыми губами. Торговец долго вглядывался в ее кислую физиономию:

– Нет, она не из тех, что обманывают мужей... Наоборот, это был, как видно, крепкий орешек... Святая женщина. Даже не верится...

III

Когда Ванда вошла в каморку Кинкаса, несколько обитателей Ладейры стояли вокруг койки и глазели на покойника. Торговец сообщил шепотом:

– Это его дочь. У него ведь есть дочь, зять, брат и сестра. Приличные люди. Зять – чиновник, живет на Итапажипе. Один из лучших домов...

Они пропустили ее вперед и с любопытством ожидали трогательного зрелища: дочь, обливаясь слезами, бросится на труп отца, обнимая его, может быть, даже рыдая. Кинкас Сгинь Вода лежал на койке в старых, заплатанных штанах, в рваной рубашке и широченном засаленном жилете. Он улыбался, как бы забавляясь.

Ванда стояла неподвижно и смотрела на небритое лицо старика, на его грязные руки, на палец, вылезающий из дырявого носка. Она не в силах была разразиться рыданиями. Слез больше не было, довольно она пролила их в прежние годы, когда делала безуспешные попытки вернуть отца домой. Ванда стояла и смотрела на труп, красная от стыда.

Вид у покойника и вправду был весьма непрезентабельный: бродяга бродягой, умерший внезапно, – ни благопристойности, ни внушительности. И при этом он еще цинично усмехался, конечно, он смеялся над нею, над Леонардо, над всей семьей. Труп для анатомического театра, таких отправляют на полицейском катафалке в университет, где на них практикуются студенты-

медики, а потом их зарывают без холма, без креста, без надписи. Кинкас Сгинь Вода, пьяница, скандалист и игрок, не имевший ни семьи, ни дома, лежал мертвый, и вокруг него не видно было цветов, не слышно молитв. Ничего общего с Жоакимом Соаресом да Кунья, благообразным чиновником налоговой конторы, вышедшим на пенсию после двадцати пяти лет безупречной и честной службы, образцовым супругом, которому каждый, сняв шляпу, спешил пожать руку!

В пятьдесят лет покинуть семью, дом, старых знакомых, привычный уклад жизни и начать скитаться по улицам – грязным, обросшим, пьянствовать в дешевых кабаках, посещать публичные дома, жить в сырой конуре, спать на жестком топчане! Ванда не находила этому объяснения. Когда умерла Отасилия – Кинкас даже по поводу такого важного события не согласился увидеться с родственниками, – Ванда с мужем не раз говорила о поступке отца, пытаясь понять, в чем дело.

Кинкас не был помешан, а если и был, то не настолько, чтобы помещать его в сумасшедший дом, – врачи пришли на этот счет к единодушному мнению. Чем же тогда объяснить его поведение?

Но теперь все позади, конец многолетнему кошмару, тяготевшему над семьей, стерто пятно с их имени.

Ванда унаследовала от матери известный практицизм, способность быстро принимать и выполнять решения.

Разглядывая покойника, эту отвратительную карикатуру на отца, она соображала, как действовать дальше. Прежде всего надо позвать врача, чтобы тот выписал свидетельство о смерти. Потом прилично одеть покойника, перевезти домой и, наконец, похоронить рядом с Отасилией. Похороны следует устроить не слишком пышные – ведь времена нынче тяжелые, – однако все же они не должны производить дурное впечатление на соседей, знакомых и сослуживцев Леонардо. Тетя Марокас и дядя Эдуардо, вероятно, помогут. Размышляя так, Ванда не сводила глаз с улыбающегося лица Кинкаса. Потом она вспомнила об отцовской пенсии.

Перейдет ли она к ним по наследству или они получат только страховку? Леонардо, наверно, знает...

Она оглянулась – все эти людишки по-прежнему глазели на нее. Жалкий сброд. Кинкас находил удовольствие в их компании. Что они тут делают? Неужели им непонятно, что с Кинкасом Сгинь Вода навсегда покончено, и покончено с той самой минуты,

как он испустил последний вздох? Это же было дьявольское наваждение, дурной сон! Жоаким Соарес да Кунья возвращается в свою семью, там, в комфортабельном, приличном доме, он снова обретет прежнюю респектабельность. Час настал, и на этот раз Кинкас не рассмеется в лицо дочери и зятю, не пошлет их ко всем чертям, не раскланяется насмешливо и не уйдет из дому, насвистывая. Он неподвижно вытянулся на койке. Кинкасу Сгинь Вода пришел конец.

Ванда подняла голову, обвела присутствующих торжествующим взглядом и спросила голосом, напоминавшим Отасилию:

– Вам что-нибудь нужно? Если нет, можете идти.

Затем обратилась к торговцу статуэтками:

– Не можете ли вы оказать мне услугу – позвать врача? Чтобы засвидетельствовать смерть.

Торговец кивнул, он был ошеломлен. Все тихонько вышли, и Ванда осталась наедине с покойным. Кинкас Сгинь Вода улыбался, из дыры в носке торчал палец, казалось, он рос...

IV

Она поискала глазами, куда бы сесть. В комнате, кроме койки, стоял только пустой деревянный ящик из-под галет. Ванда перевернула его, смахнула пыль и уселась. Сколько времени придется ждать врача?

А Леонардо, как он там? Она представила себе мужа, он, наверно, в затруднительном положении, ведь приходится рассказывать шефу о неожиданной смерти тестя. Начальник Леонардо знал Жоакима еще в те добрые времена, когда тот служил в налоговой конторе.

Да и кто тогда не знал его, кто не питал к нему уважения и кто мог себе представить, что с ним станется?

Леонардо приходилось нелегко, когда он вынужден бывал беседовать с шефом о безумствах старика и придумывать какие-то объяснения. А теперь хуже всего будет, если новость распространится среди сослуживцев: начнут шептаться, передавать ее от стола к столу с ехидными улыбочками, дурацкими пояснениями, пошлыми остротами. Папаша – тяжкий крест, возложенный на них судьбой, – превратил их жизнь в сплошную муку. Но теперь они дошли наконец до вершины

Голгофы, нужно лишь еще немного терпения. Ванда искоса взглянула на мертвеца. Кинкас улыбался: похоже, все это ужасно смешило его.

Грешно питать злобу к покойнику, тем более если это твой отец. Ванда сдержалась: она была религиозна, аккуратно ходила в церковь и верила во второе пришествие. Да и какое значение может иметь теперь эта усмешка Кинкаса? Наконец-то власть в руках Ванды, и в самом скором времени Кинкас вновь станет Жоакимом Соаресом да Кунья, безупречным тихим обывателем.

Вошел торговец, он привел врача – молодого человека, видимо, только что окончившего университет, судя по тому, как он старательно изображал из себя весьма опытного специалиста. Торговец указал пальцем на мертвеца, врач поздоровался с Вандой и открыл блестящий кожаный чемоданчик. Ванда поднялась с ящика.

– Отчего он умер?

Объяснять взялся торговец?

– Его нашли мертвым, вот так, как сейчас.

– Он чем-нибудь болел?

– Не могу сказать, сеньор. Я его знаю лет десять, и всегда он был здоров как бык. Только, может, вы, доктор...

– Что такое?

– Может, вы считаете это болезнью, если человек любит кашасу. Так вот насчет опрокинуть стаканчик – это он мог...

Ванда предостерегающе кашлянула. Доктор обратился к ней:

– Он служил у вас, сеньора?

Короткое, тяжелое молчание и потом приглушенное:

– Это мой отец.

Доктор был молод, у него совсем не было житейского опыта. Он смотрел во все глаза на Ванду, на ее нарядное платье, на туфли на высоком каблуке, на всю ее опрятную подтянутую фигуру. Взглянул на нищенскую одежду покойника, обвел глазами жалкую конуру...

– И он жил здесь?

– Мы сделали все, чтобы он вернулся домой.

Он был...

– Помешанный?

Ванда развела руками, она готова была заплакать.

Врач перестал задавать вопросы. Он сел на край кровати и начал осмотр. Потом поднял голову и сказал:

– Смотрите-ка, он смеется, а? Вот бесстыдник!

Ванда закрыла глаза и сжала руки. Лицо ее пылало.

V

Семейный совет длился недолго. Дело обсудили за столиком в ресторане на Байше-до-Сапатейро. Веселые, оживленные люди спешили мимо – напротив ресторана было кино. Покойника поручили заботам похоронного бюро, владельцем которого был друг дяди Эдуардо (двадцать процентов скидки).

Дядя Эдуардо пояснил:

– Даже гроб и тот стоит дорого. А если нанять автомобили и устроить большую процессию, так тут надо целое состояние. В наше время и помереть-то недешево.

Тут же, поблизости, купили новый черный костюм (материал не ахти какой, но, как сказал дядя Эдуардо, червям на закуску и этот слишком хорош), пару ботинок, тоже черных, белую рубашку, галстук и пару носков. Эдуардо записал все расходы в книжечку. Он был мастер экономить, и его магазин процветал.

Покуда родственники в ресторане лакомились приготовленной на заказ рыбой и обсуждали порядок погребения, Кинкас Сгинь Вода в ловких руках служащих похоронного бюро превратился в Жоакима Соареса да Кунья.

Спор возник из-за одной детали – откуда нести гроб на кладбище. Ванда думала привезти покойника домой, поставить гроб в гостиной и устроить велорио с пирожками, кофе и ликером. Позвать отца Роке для ртпевания. А похоронить рано утром, чтобы могло прийти побольше народу – сослуживцы Леонардо, старые знакомые, друзья семьи. Но Леонардо воспротивился. Зачем везти покойника домой? Зачем приглашать друзей и соседей и причинять беспокойство куче людей? Только для того, чтобы все снова стали вспоминать безумства умершего, его недостойную жизнь в последние годы? Зачем выставлять себя на позор перед всеми? Хватит с него сегодняшнего утра в конторе. Ни о чем другом и разговору не было. Все знали историю Кинкаса, без конца говорили о нем и хохотали. Он, Леонардо, никогда даже не представлял себе, что тесть натворил столько всяких дел. Прямо в дрожь кидает... И вдобавок ко всему многие ведь думали, что Кинкас умер и давно похоронен, а некоторые считали, что он живет себе преспокойно, где-то в провинции. А

дети? Они же чтят память добродетельного дедушки, почившего в мире! И вдруг родители явятся с трупом бродяги под мышкой и сунут его под нос невинным малюткам. Не говоря уж о хлопотах и о расходах, которые придется еще нести (как будто мало того, что они оплатили и похороны, и новый костюм, и ботинки). Ему, Леонардо, самому давно уже нужны новые туфли, а он вынужден экономить и без конца отдавать в починку свою единственную пару. А тут вдруг такие затраты! Когда он теперь сможет купить себе ботинки?

Тетя Марокас, весьма пышная дама, отличавшаяся особым пристрастием к заказным рыбным блюдам, придерживалась другого мнения:

– Самое лучшее, сказать всем, что он умер в провинции, что мы получили телеграмму. А на седьмой день устроить панихиду. Кто захочет, тот и явится, и нам не придется никого возить за свой счет на кладбище.

Ванда подняла вилку:

– Как бы то ни было, он мой отец. И я не желаю, чтобы его закопали, как какого-нибудь бродягу. Если бы речь шла о твоем отце, Леонардо, тебе бы это понравилось?

Дядя Эдуардо не любил сантиментов.

– А кем же он был, по-твоему, не бродягой, что ли? Самым поганым во всей Баие. Хоть он мне и брат, а я не могу не признать этого.

Тетя Марокас икнула. Желудок ее был переполнен, сердце тоже:

– Бедняжка Жоаким... У него был хороший характер. Он поступал плохо вовсе без злого умысла. Просто ему нравилась такая жизнь. У каждого своя судьба. Он и в детстве был такой. Один раз – ты помнишь, Эдуардо? – он чуть не убежал с цирком. Ну и выдрали его тогда! Чуть шкуру не спустили... – Марокас похлопала по колену сидевшую рядом с ней Ванду и добавила как бы в оправдание: – Ведь твоя мать, дорогая, была немного деспотична. Вот он в один прекрасный день взял да и ушел из дому неизвестно куда.

Мне он сказал, что хочет стать свободным, как птичка. По правде сказать, он не был лишен остроумия.

Однако никто не счел это остроумным. Ванда нахмурилась:

– Я не стану его оправдывать. Он причинил нам много страданий – мне и моей матери, которая была порядочной

женщиной. И Леонардо тоже. Но все-таки я не хочу, чтобы его похоронили, как бездомную собаку. Что скажут люди? И потом, раньше ведь он был уважаемым человеком, И похоронить его надо как следует.

Леонардо смотрел на нее умоляюще. Он не умел спорить с Вандой, она всегда оказывалась победительницей и поступала по-своему. Так было и у Жоакима с Отасилией до того дня, когда Жоаким бросил все и вырвался на волю. Неужели нет другого выхода и надо тащить покойника к себе домой, извещать знакомых и друзей, сзывать их по телефону, потом сидеть всю ночь и слушать истории о Кинкасе, сопровождаемые приглушенными смешками и подмигиванием, пока наконец не вынесут тело? Тесть отравил ему существование, причинил ужаснейшие неприятности. Леонардо жил в постоянном страхе, каждую минуту ожидая, что кто-нибудь расскажет про очередной фокус Кинкаса; он боялся раскрыть газету, боялся увидеть в ней сообщение об аресте Кинкаса – так уж случилось однажды. Ему не хотелось даже вспоминать о том дне, когда он по настоянию Ванды ходил из одного полицейского участка в другой, пока наконец не обнаружил тестя в подвале центральной тюрьмы, где тот преспокойно играл в карты с ворами и мошенниками. И после всего этого, когда Леонардо надеялся вздохнуть наконец свободно, он должен будет в своем собственном доме сидеть у трупа тестя целый день и целую ночь...

Эдуардо тоже не соглашался с Вандой, и, поскольку он вызвался разделить с племянницей и ее мужем расходы по похоронам, с его мнением приходилось считаться.

– Все это очень хорошо, Ванда. Надо похоронить его по-христиански, со священником, в новой одежде и с венком из цветов. Что тут говорить, ничего этого он, конечно, не заслужил, но в конце концов он твой отец и мой брат. Все это так. Но зачем тащить его в дом?

– Зачем? – повторил Леонардо, как эхо.

– Причинять людям беспокойство, нанимать шестьвосемь машин. Знаешь, сколько это стоит? А перевозить покойника с Табуана на Итапажипе? Да на это уйдет целое состояние! Почему бы не устроить вынос тела прямо отсюда? Провожать его на кладбище будем мы, значит, хватит одной машины. Потом, если сочтете нужным, можно будет на седьмой день пригласить всех на панихиду.

– Объявите, что он умер в провинции. – Тетя Марокас никак не хотела расстаться со своей идеей.

– Можно и так сделать. Почему нет?.

– А кто будет дежурить у гроба?

– Да мы же! Зачем тебе еще кто-то?

Кончилось тем, что Ванда уступила. Действительно, подумала она, везти его к себе домой – это уж слишком. Столько труда, расходов, возни... Не лучше ли похоронить Кинкаса по возможности скромнее, а потом сообщить о его кончине друзьям и пригласить их на панихиду на седьмой день? На том и порешили и заказали десерт. Поблизости надрывался громкоговоритель, прославляя необычайные выгоды, которые сулит каждому приобретение земельного участка через посредство компании по продаже недвижимости...

VI

Дядя Эдуарде вернулся в магазин: нельзя ведь полагаться на приказчиков, все они жулики. Тетя Марокас обещала прийти попозже, ей надо побывать дома, она там оставила все вверх дном – так спешила узнать новости. Леонардо по совету Ванды решил, раз уж он не пошел в контору, использовать свободное время и зайти в компанию по продаже недвижимости, чтобы кончить дело с покупкой в рассрочку участка. Настанет день, когда у них с божьей помощью будет свой дом. Договорились, что у гроба будут дежурить по очереди: Леонардо и дядя Эдуарде ночью, Ванда и Марокас днем. Ладейра-до-Табуан была не такого рода местом, где приличная женщина могла появляться вечером: эта улица пользовалась дурной славой, здесь жили воры и проститутки. Утром же вся семья соберется на похороны.

Вот как получилось, что после обеда Ванда оказалась одна возле тела отца. Отзвуки шумной уличной жизни едва доносились сюда, на третий этаж. Кинкас лежал, казалось, отдыхая после утомительной процедуры переодевания. Служащие похоронного бюро были мастерами своего дела. Как выразился заглянувший на минутку торговец, «словно бы и не тот покойник». Выбритый, причесанный, в черном костюме, белоснежной рубашке, в галстуке и блестящих ботинках, Жоаким Соарес да Кунья покоился в великолепном гробу, с золочеными украшениями и кистями. Ванда была удовлетворена. Гроб

поставили на импровизированный стол, кое-как сколоченный из досок, и выглядел он весьма эффектно и благородно. Две огромные свечи (как в алтаре, с гордостью подумала Ванда) горели слабым, почти невидимым пламенем. Буйное солнце Баии врывалось в окно, заливая комнату ярким светом. Этот блеск, это радостное сверкание казались Ванде неуважением к смерти, в солнечных лучах сияние свечей теряло всякую торжественность, свечи были просто не нужны. Она хотела было из экономии потушить их, но подумала, что похоронное бюро все равно возьмет те же деньги, две ли свечи сгорят или десять, и решила лучше закрыть окно и опустить штору. В комнате воцарился полумрак, пламя свечей вытянулось высоко вверх. Ванда уселась на стул, который одолжил все тот же торговец. Она была довольна – не просто довольна тем, что выполнила свой дочерний долг, нет, Ванда ощущала какое-то особое удовлетворение.

Вздох облегчения вырвался из ее груди. Она поправила свои каштановые волосы. Теперь она окончательно справилась с Кинкасом, снова надела на него узду, которую он вырвал когда-то из сильных рук Отасилии, смеясь ей в лицо. Легкая улыбка заиграла на губах Ванды, на ее красивых полных губах, которые портили только жесткие складки в углах рта. Она отомстит ему за все, что он сделал, за все их страдания – и ее, и Отасилии, и всей семьи. За многолетнее унижение.

Десять лет он вел эту нелепую жизнь. «Король босяков Баии», – писали о нем в полицейской хронике; десять лет он был героем очерков всех этих писак, падких на трущобную экзотику, десять лет обливал грязью семью, позорил ее своей скандальной славой. «Первый пьяница квартала», «Кинкас Сгинь Вода», «философ в лохмотьях», «король отверженных», «прирожденный бродяга» – так именовали его газеты, а иногда даже помещали его фотографию. Отец пренебрег своими обязанностями, и, боже мой, сколько страданий выпало на долю дочери, которой судьба послала такой тяжкий крест!

Но теперь она чувствовала себя счастливой. Она смотрела на покойника: он лежал в великолепном гробу, одетый в черный костюм, со скрещенными на груди руками, весь его вид выражал благочестивое раскаяние. Поблескивали новые ботинки, пламя свечей отражалось в них. Все было прилично, за исключением, конечно, комнаты. Довольно они страдали и терпели

издевательства! Ванда подумала об Отасилии – вероятно, она теперь тоже радуется там, на небесах. Ее воля наконец исполнена, благочестивая дочь снова превратила Кинкаса Сгинь Вода в Жоакима Соареса да Кунья, в доброго, робкого, послушного Жоакима.

Бывало, стоит только прикрикнуть на него или слегка нахмуриться, и он на все согласен. Вот он лежит тут, смиренно скрестив на груди руки. Нет больше бродяги, «короля отверженных», «патриарха нищей братии».

Жаль, что он умер и не может посмотреть на себя в зеркало, пусть бы увидел победу дочери, победу оскорбленной семьи.

Глубокое удовлетворение сделало Ванду доброй и великодушной. Ей хотелось забыть эти последние десять лет, вычеркнуть их из памяти, смыть с себя позор, как смыли грязь с тела Кинкаса служащие похоронного бюро. Она стала вспоминать детство, школьные годы, свою помолвку и свадьбу. И над всем этим стоял кроткий образ Жоакима Соареса да Кунья. Она видела его сидящим в брезентовом шезлонге с газетой в руке. Отасилия раздраженно окликала его.

– Кинкас!

И он вздрагивал. Таким она любила отца, чувствовала к нему нежность, ей даже показалось, что Она скорбит о его смерти. Стоит лишь еще немного напрячь воображение – и она окончательно расчувствуется, представит себя несчастной, безутешной Сиротой.

Жара в комнате усиливалась. Морской бриз не проникал через закрытое окно, да Ванда этого и не хотела: море, порт, бриз, узкие улицы, бегущие в горы, разноголосый шум – все это принадлежало ему, Кинкасу, былб частью его беспутной позорной жизни.

С этим покончено навсегда. Здесь место только ей и ее покойному отцу Жоакиму Соаресу да Кунья, которого она горько оплакивает и который оставил о себе самую добрую память. Ванда вспоминает давно забытое прошлое. Отец повел ее в цирк, обосновавшийся на Рибейре в канун праздника вознесения. Кажется, его еще никогда не видели таким веселым: высокий мужчина, посадив девочку себе на плечо, хохотал громко, от всей души, – он, который так редко улыбался. Потом она вспомнила вечеринку, устроенную в его честь друзьями и коллегами по случаю повышения его по службе. Дом был полон гостей. Ванда

была уже в то время молодой девушкой, за ней начинали ухаживать.

В этот день Отасилия сияла от удовольствия, она стояла посреди гостиной, где произносили речи и пили пиво, а Кинкасу преподнесли вечную ручку. Казалось, что чествуют ее, а не мужа. Жоаким слушал речи, пожимал руки и принял ручку, не проявив ни малейшего восторга. Похоже, что все это его раздражало, но у него не хватало духу сказать правду.

Ванда вспомнила также лицо отца, когда ему сообщили о предстоящем визите Леонардо, решившегося наконец просить ее руки. Жоаким покачал головой и пробормотал:

– Бедняга...

Ванда не допускала критики по адресу жениха: – Бедняга? Почему это? Он из приличной семьи, у него хорошая должность. Не пьет, не скандалит...

– Знаю... знаю... Я имел в виду совсем другое.

Любопытная вещь – Ванда не помнила никаких подробностей, связанных с отцом. Как будто он не принимал по-настоящему участия в жизни дома.

Вспоминать Отасилию, отдельные сказанные ею слова, различные случаи, сцены, события, в которых фигурировала мать, она могла часами. А Жоаким, в сущности, стал что-то значить в их жизни именно с того злополучного дня, когда он обозвал Леонардо болваном, а потом посмотрел на дочь, на Отасилию и вдруг бросил им в лицо:

– Гадюки! – и сохраняя полнейшее спокойствие, будто в его поступке не было ничего из ряда вон выходящего, встал с места, вышел из дому и больше не возвращался.

Нет, об этом Ванда не хотела думать. Она снова вернулась к воспоминаниям детства. Лучше всего она помнит, каким был отец именно в ту пору. Однажды у пятилетней Ванды (она была тогда капризной девчонкой с локонами) вдруг поднялась температура.

Жоаким целые дни не выходил из ее комнаты, сидел у постели, держал ее руки в своих, подавал лекарства...

Да, он был хорошим отцом и хорошим мужем. Ванда настолько растрогалась, что могла бы даже заплакать (как и полагается хорошей дочери), если бы было кому увидеть ее слезы.

Она снова с грустью взглянула на покойного. В блестящих ботинках отражались огоньки свечей, складки брюк лежали

безукоризненно, черный пиджак был сшит прекрасно, руки благочестиво сложены на груди.

Она посмотрела на выбритое лицо Кинкаса и вдруг вздрогнула, словно ее ударили.

Мертвец улыбался. Насмешливая, саркастическая, издевательская улыбка застыла на его губах. Специалисты из похоронного бюро ничего не могли с ней сделать. И как это Ванда забыла! Надо было попросить их придать физиономии покойного серьезное выражение, которое соответствовало бы торжественности события. Кинкас Сгинь Вода улыбался. И эта улыбка, полная иронии и неистребимой любви к жизни, лишала всякого смысла и новые ботинки – новые, в то время как бедному Леонардо пришлось уже во второй раз отдать в починку свои, – и черный костюм, и белую рубашку, и выбритый подбородок, и напомаженные волосы, и даже руки, сложенные, как для молитвы! Потому что Кинкас смеялся над всем этим.

Улыбка на его лице становилась все шире и шире. Казалось, еще немного и смех мертвеца зазвенит в пустой комнате. Губы улыбаются, улыбаются глаза, устремленные в угол, где кучей лежит его грязная заплатанная одежда, забытая служащими похоронного бюро. Кинкас Сгинь Вода смеется и после смерти.

И вдруг в мрачной тишине прозвучало слово, оно было сказано по слогам, с оскорбительной четкостью:

– Га-дю-ка!

Ванда испугалась, глаза ее засверкали, как в свое время глаза Отасилии, но она все же побледнела.

Этим словом он плевал когда-то в лицо ей и Отасилии – в ответ на все их попытки вернуть его к домашнему очагу, к размеренному ходу жизни, вновь сделать благоразумным. Даже сейчас, когда он лежит в гробу – тихий, прилично одетый, а в ногах у него стоят зажженные свечи, он все-таки не сдается. Он смеется во весь рот, ничего удивительного, если он сейчас свистнет. И к тому же на его левой руке большой палец слегка приподнят: Кинкас по-прежнему бунтует, он не желает смиренно скрещивать руки.

– Гадюка! – сказал он снова и насмешливо свистнул.

Ванда провела рукой по лицу – уж не сходит ли она с ума? Жара становилась невыносимой, Ванда задыхалась, у нее кружилась голова. На лестнице послышалось пыхтенье; тетя Марокас с трудом протиснула в комнату свою жирную тушу.

Ванда сидела на стуле, бледная, растерянная, не сводя глаз с губ покойника.

– Ты расстроена, девочка. Ну и жара же в этой конуре...

При виде монументальной фигуры сестры Кинкас улыбнулся еще шире. Ванда уже было хотела зажать уши, она помнила, какими словечками он имел обыкновение награждать Марокас, но разве это поможет, если имеешь дело с покойником?

– Вонючка жирная! – услышала она.

Марокас, отдышавшись после подъема, подошла к окну. Открывая его, она спросила, не глядя на покойника:

– Его, верно, надушили? От этого запаха просто голова кругом идет.

Разноголосый веселый шум ворвался в открытое окно. Морской бриз погасил свечи и поцеловал лицо Кинкаса. Голубоватый, праздничный свет залил комнату. Кинкас все с той же торжествующей улыбкой поудобнее устроился в гробу.

VII

А в это время весть о неожиданной смерти Кинкаса Сгинь Вода уже разнеслась по улицам Салвадора.

Правда, ни одна из лавчонок не закрылась в знак траура, но цены на украшения, соломенные сумки и глиняные фигурки, которые обычно покупают туристы, тотчас же подскочили – рыночные торговцы на свой лад скорбели об умершем. Люди сновали по улицам, собирались группами, судили и рядили, а новость неслась дальше, поднималась на подъемнике Ласерды, ехала на трамваях до Калсады, на автобусах – до самой Фейры-де-Сант-Ана, Грациозная негритянка Паула расплакалась над своим лотком с бейжу: Сгинь Вода больше не придет, не будет, как прежде, говорить ей замысловатые комплименты, любоваться ее высокой грудью, смешить ее своими не совсем приличными шутками.

На рыбачьих лодках приспустили паруса. Однако загорелые подданные Йеманжи не скрывали разочарования и удивления: как мог старый моряк испустить дух в постели в какой-то каморке на Ладейре-до-Табуан? Ведь Кинкас не раз заявлял решительно и с такой силой убеждения, что невозможно было ему не верить, – будто он не может умереть на суше, ибо только одна могила

достойна его – бесконечные просторы моря, залитые лунным светом.

Когда он, приглашенный на пир по случаю сенсационного улова, в качестве почетного гостя бывал на борту какого-нибудь баркаса и из глиняных горшков поднимался ароматный пар, а бутылка с кашасой переходила из рук в руки, наступала минута, когда под рокот гитар в Кинкасе все громче начинала говорить кровь древних мореходов. Он поднимался, чуть покачиваясь под влиянием кашасы – это делало его еще больше похожим на моряка, – и объявлял во всеуслышание, что он старый морской волк. На суше, без судна и без моря он опустился, но не по своей вине. Он родился для того, чтобы ставить паруса, управлять баркасом и бороться с волнами в бурные ночи. Жизнь сломила его, а ведь он мог бы стать капитаном, в синей форме, с трубкой в зубах. И все же он остался моряком, для этого родила его мать, Мадалена, внучка капитана корабля. Прадед его был моряк, и, если ему сейчас дадут этот баркас, он сумеет вывести его в открытое море и благополучно прибудет не только в Марагожипе или Кашоэйру – это близко! а и к далеким берегам Африки, хотя ему никогда до сих пор не приходилось плавать. Ему нечего учиться мореплаванию, он знает все от рождения, это у него в крови. Если кто из почтенных слушателей сомневается, пусть скажет прямо... Запрокинув голову, он пил из бутылки большими глотками. Но моряки не сомневались: вполне возможно, что все это правда. Ведь мальчишки, слонявшиеся в порту и по побережью, знали море чуть ли не с рождения, и никто не удивлялся такому чуду.

И тут Кинкас Сгинь Вода торжественно клялся: только морю будет принадлежать честь присутствовать при его последних минутах. Не надо ему трех аршинов земли. Нет, ни за что! Когда придет его час, он выйдет в море, на свободу, он совершит плавание, которого так и не совершил в жизни, небывалый подвиг, беспримерный по смелости переход! И только так он встретит свою кончину. Рулевой Мануэл, самый храбрый из всех рыбаков, человек без нервов и без возраста, одобрительно кивал. Остальные выпивали еще по глотку кашасы и тоже не выражали никаких сомнений. Жизнь научила их верить в человека и его силы. Звенели гитары, воспевая ночи на море, полные соблазнов, роковую магию Йеманжи. «Старый моряк» пел громче всех.

Как же после всего этого могло случиться, что он, Кинкас, внезапно умер в комнате на Ладейре-до-Табуан? Невероятно! Рыбаки не соглашались этому верить. Кинкас Сгинь Вода любил дурачить людей, весьма возможно, что он и на этот раз всех надул.

Бурные партии в «порринью», «ронду» и «семь с половиной»[7] были прерваны игроки, ошеломленные вестью о кончине Кинкаса, потеряли к ним всякий интерес. Сгинь Вода был их главарем. Вечерний сумрак спускался на землю, как траурный флер. В барах, тавернах, у прилавков магазинов и лавчонок всюду, где пили кашасу, воцарились печаль и уныние по случаю невозместимой потери. Кто умел пить лучше Кинкаса? Он никогда не бывал пьян, и чем больше кашасы он вливал в свою глотку, тем яснее становился его разум, живее и остроумнее речь. Он обладал поразительной способностью безошибочно определять марку и место изготовления любого вина, умел различать малейшие оттенки цвета, вкуса и аромата. Сколько лет он не дотрагивался до воды? С того самого дня, как его прозвали Сгинь Вода.

В этой истории нет ничего особенно примечательного или волнующего. Но все же стоит ее рассказать, так как именно с того далекого дня прозвище Сгинь Вода навсегда пристало к имени Кинкаса. Как-то раз Киикас зашел в таверну одного славного испанца, по имени Лопес, что держит заведение неподалеку от рынка. Кинкасу как завсегдатаю разрешалось самому наливать себе вино, не пользуясь услугами официанта.

На прилавке стояла бутылка, полная чистой, прозрачной, отличной на вид кашасы. Кинкас налил себе стакан, сплюнул и разом опрокинул его в рот. Нечеловеческий рев, рев раненного насмерть зверя, огласил поутреннему тихий рынок, казалось, даже подъемник Ласерды зашатался на своем прочном фундаменте. То был вопль человека, которого предали и погубили:

– Сгинь, вода-а-а!

Подлый, мерзкий испанец, недаром о нем ходит дурная слава!

К таверне со всех сторон бежали люди: никто не сомневался, что там произошло убийство, посетители же таверны корчились от хохота. Об этом вопле – «Сгинь, вода!» – тут же принялись рассказывать повсюду: на базаре, на площади Позорного Столба,

от площади Семи Ворот до мола, от Калсады до Итапоа. С тех пор все стали называть его Кинкас Сгинь Вода, а Пучеглазая Китерия в минуты нежности шептала ему: «Сгинь Водичка».

А в самых убогих дешевых публичных домах, где бродяги, воры, мелкие контрабандисты и списанные на берег матросы находили в глухой ночной час кров, семейный очаг и любовь, где усталые от безрадостной торговли своим телом женщины жаждали хоть немного нежности, известие о смерти Кинкаса Сгинь Вода иызвало горькие, безутешные слезы. Его оплакивали, как самого близкого родственника, женщины вдруг почувствовали себя одинокими и беззащитными. Некоторые пожертвовали все свои сбережения, чтобы купить в складчину и положить на гроб самые прекрасные цветы Баии. Пучеглазая Китерия, окруженная рыдающими подругами, издавала душераздирающие вопли, разносившиеся по Ладейре-де-Сан-Мигел до самой площади Позорного Столба. Она вынуждена была искать утешения в вине и, то прикладываясь к бутылке, то снова разражаясь рыданиями, без конца восхваляла своего незабвенного возлюбленного... такого нежного и сумасшедшего, такого веселого и мудрого.

Стали вспоминать разные случаи, подробности, слова, в которых так хорошо видна была душа Кинкаса.

Разве не он больше двадцати дней ухажмвал за трехмесячным сынишкой Бенедиты, когда ей пришлось лечь в больницу? Ведь только что не кормил ребенка грудью... и пеленки менял, и купал малыша, и давал ему соску...

А совсем недавно, во время кутежа в доме свиданий Вивианы, разве не он, старый и пьяный, бесстрашно бросился на защиту Клары Боа, когда два молодых развратника, негодяи из богатых семей, хотели избить ее? А каким приятным гостем бывал он за большим столом в полуденные часы... Кто еще умел рассказывать такие забавные истории, кто лучше мог утешить в страданиях любви, словно отец или старший брат?

Под вечер Пучеглазая Китерия свалилась со стула и, будучи уложена в постель, заснула одна со своими воспоминаниями. Большинство девиц решило по случаю траура не принимать в этот вечер мужчин... Будто в четверг или в пятницу на страстной неделе.

VIII

К концу дня, когда в городе зажигались огни, а люди возвращались с работы, четверо самых близких приятелей Кинкаса Сгинь Вода – Курио, Прилизанный Негр, Капрал Мартин и Ветрогон – шагали вниз по Ладейре-до-Табуан, к дому покойного. Из любви к правде следует отметить, что в это время они еще не были пьяны. Конечно, взволнованные полученным известием, они слегка хлебнули, однако красные глаза, запинающаяся речь и нетвердая походка были, без всякого сомнения, последствиями тяжких страданий и обильно пролитых слез. Может ли не помутиться в голове, если умер старый друг, верный товарищ, самый заядлый бродяга во всей Баие? Что же касается бутылки, которая якобы была спрятана под рубашкой у Капрала Мартина, то это ведь не доказано.

В сумеречный час, час таинственного приближения ночи, покойник, как казалось Ванде, выглядел немного усталым. Да и было отчего: весь день он смеялся, бормотал ругательства, строил гримасы. Он не унялся, даже когда Леонардо и дядя Эдуардо пришли сменить Ванду. Она слышала, как он обзывал Леонардо ничтожеством и насмехался над Эдуарде. Но когда над городом сгустились вечерние тени, Кинкас начал беспокоиться. Он словно чего-то ждал. Ванда, чтобы забыться и отвлечься, оживленно разговаривала с мужем, дядей и тетушкой Марокас, стараясь не смотреть на покойника. Ей хотелось скорее вернуться домой, отдохнуть, принять снотворное. Почему это Кинкас все водит глазами, будто смотрит то на окно, то на дверь?

Четверо приятелей узнали о смерти Кинкаса не все сразу. Сначала новость дошла до Курио. Этот человек применял свои многочисленные таланты в лавках на Байша-до-Сапатейро, где работал зазывалой. Надев поношенный фрак и нарумянив лицо, он становился в дверях лавки и за ничтожное вознаграждение прославлял дешевизну и высокое качество товаров – он привлекал внимание прохожих, бойко выкрикивая остроты, приглашал их зайти во что бы то ни стало, чуть ли не затаскивал силой. Время от времени, когда его донимала жажда – ведь от такой работы пересыхает в горле, – он забегал в соседнюю таверну и опрокидывал стаканчик для улучшения звучности голоса. Во время одного из таких посещений его и настигло известие о смерти Кинкаса. Курио лишился речи, словно кто хватил его кулаком под ложечку. Повесив голову, возвратился он в лавку и предупредил хозяина, чтобы тот не рассчитывал на

него больше в этот день. Курио был еще молод; радости и печали глубоко потрясали его юную душу. Он не мог страдать в одиночку и нуждался в поддержке друзей. Он жаждал очутиться поскорее в своей компании.

Под откосом, в том месте, где по субботам причаливали рыбачьи лодки, прибывавшие на вечерний базар на Агуа-дос-Менинос, всегда собиралось много народу. Многолюдно бывало и на площади Семи Ворот, и на улице Свободы, где постоянно толпились любители капоэйры[8] – моряки, рыночные торговцы, шаманы, мошенники. Здесь болтали, заключали всякого рода сделки, резались в карты, ловили при свете луны рыбу и устраивали веселые попойки. В этих местах у Кинкаса Сгинь Вода было немало поклонников и приятелей, но с этими четырьмя – Курио, Прилизанным Негром, Ветрогоном и Капралом. Мартином – он почти не разлучался. Много лет подряд они ежедневно встречались и проводили вместе все вечера. Иногда у них бывали деньги, иногда приходилось туго; случалось, они объедались, случалось, умирали с голоду, но выпивку всегда делили поровну и держались вместе – в дни веселья и в дни печали. Только теперь Курио понял, как крепко они были связаны друг с другом. Смерть Кинкаса представлялась ему чем-то вроде ампутации – как будто ему отрезали руку, ногу или выкололи глаз.

Тот самый «глаз сердца», о котором говорила сеньора, Мать бога[9], а уж мудрее ее вряд ли сыскать. Курио решил, что надо им всем вместе пойти попрощаться с Кинкасом.

Он отправился на поиски Прилизанного Негра. Конечно, тот сейчас на площади Семи Ворот помогает знакомым маклерам «жого до бишо»[10], чтобы раздобыть пару монет на вечернюю выпивку. Росту в Прилизанном Негре чуть ли не два метра; когда он расправит плечи, то похож на монумент – такой он огромный и сильный. И если разозлится, никто с ним не справится. К счастью, злится он редко. Прилизанный Негр – человек веселый и добродушный.

Как и рассчитывал Курио, Негр оказался на площади Семи Ворот. Он сидел на тротуаре возле рынка и всхлипывал, держа в руке бутылку. Вокруг стояло несколько человек, деливших с ним его горе и его кашасу. Они хором аккомпанировали воплям и вздохам Негра. Увидав эту сцену, Курио понял, что Негр уже

знает о несчастье. Тот отхлебнул из бутылки, отер слезу и отчаянно завыл:

– Скончался отец наш...

– Отец наш... – простонали окружающие.

Бутылка-утешительница ходила по рукам, но все обильнее текли слезы из глаз Негра и все острее становились его страдания.

– Умер хороший человек...

– Хороший человек...

Время от времени кто-нибудь присоединялся к толпе, зачастую даже не зная, в чем дело. Прилизанный Негр протягивал ему бутылку и вновь испускал дикий вопль:

– Он был добрый...

– Добрый... – повторяли все, за исключением вновь прибывшего, не понимавшего, почему его бесплатно поят кашасой и чем вызваны столь горестные завывания.

– А ты что молчишь, несчастный? – Прилизанный Негр, не вставая, протягивал могучую руку и, сверкая глазами, встряхивал новичка. – Может, ты думаешь, он был плохой?

Кто-нибудь спешил объяснить, пока дело не приняло дурной оборот:

– Умер Кинкас Сгинь Вода.

– Кинкас?.. Он был добрый, – говорил новый член хора, то ли по убеждению, то ли со страху.

– Еще бутылку! – рыдая, требовал Прилизанный Негр.

Какой-нибудь мальчишка тотчас вскакивал и мчался в соседнюю таверну:

– Прилизанный хочет еще бутылку.

Курио издали наблюдал за этой сценой. Известие опередило его. Увидав Курио, Негр простер руки к небу, издал еще один страшный крик и поднялся:

– Курио, братец, умер отец наш..

– Отец наш... – повторил хор.

– Заткнитесь вы, болваны! Дайте мне обнять моего братишку Курио.

Нет на свете людей более вежливых, чем баиянские бродяги. Хоть они и бедны на редкость, но зато на редкость цивилизованны. Поэтому «болваны» тотчас же «заткнулись». Полы фрака Курио развевались по ветру, по его нарумяненному лицу текли слезы. Горько рыдая, он трижды обнялся с

Прилизанным Негром и, ища утешения, отпил из новой бутылки. Негр же был безутешен:

– Погас светильник...

– Светильник...

Курио предложил:

– Найдем остальных и пойдем к нему.

Капрал Мартин мог находиться только в трех или четырех местах: либо он спал у Кармелы, еще не придя в себя после вчерашней попойки, либо сидел на откосе и болтал с приятелями, либо играл на базаре Агуа-дос-Менинос. С тех самых пор, как лет пятнадцать назад Капрал Мартин покинул армию, он занимался только любовью, разговорами с друзьями и игрой. Его никогда не видели за каким-нибудь иным делом, женщины и дураки давали ему вполне достаточно средств на жизнь. Работать для человека, носившего когда-то военный мундир, было бы, по мнению Капрала Мартина, просто унизительно. Красота, величественная осанка и ловкость в карточной игре завоевали ему популярность, не говоря уж о том, что он прекрасно играл на гитаре.

Капрал совершенствовал свои многообразные способности большей частью на базаре Агуа-дос-Менинос.

Он передергивал карты с поразительным искусством, чем доставлял высокое наслаждение шоферам автобусов и грузовиков, а также способствовал воспитанию двух мальчишек, которые начинали под его руководством практическое знакомство с жизнью. Кроме того, он часто помогал рыночным торговцам спускать деньги, нажитые ими за день. Таким образом, как мы видим, его деятельность заслуживала всяческих похвал. И довольно трудно понять, почему один из торговцев без всякого восторга смотрел, как Мартин виртуозно мечет банк, и даже пробормотал сквозь зубы, что «такое везение пахнет жульничеством». Капрал Мартин поднял на клеветника невинные голубые глаза. Он протянул торговцу колоду – пусть мечет сам, если ему угодно и если он обладает достаточным умением. Что же касается его, Капрала Мартина, то он предпочитает просто пойти ва-банк, выиграть и разорить банкомета дочиста. И он не допускает сомнений в своей честности.

Как бывший военный, он особенно чувствителен ко всякого рода намекам, подрывающим его репутацию порядочного человека. Его щепетильность в этом вопросе настолько велика,

что в случае новой провокации он будет вынужден набить кое-кому морду. Воодушевление ребятишек росло, шоферы в волнении потирали руки. Что может быть приятней неожиданного бесплатного зрелища доброй потасовки? Но именно в этот момент, когда все радостно ожидали начала драки, появились Курио и Прилизанный Негр с печальным известием и бутылкой, на дне которой, впрочем, оставалось совсем немного. Еще издали они закричали:

– Он умер! Умер!

Капрал Мартин взглянул на них, опытным глазом безошибочно измерил содержимое бутылки и сказал окружающим:

– Случилось что-то необычайное, они выпили уже целую бутылку. Или Прилизанный Негр выиграл в «жого до бишо», или у Курио помолвка.

Курио, неисправимый романтик, постоянно падал жертвой безумной страсти и устраивал помолвки.

Каждая помолвка соответствующим образом отмечалась, но обычно сватовство, начатое столь весело, кончалось весьма скоро, жених впадал в меланхолию и погружался в философские размышления.

– Кто-то умер... – сказал один из шоферов.

Капрал Мартин напряг слух.

– Он умер! Умер!

Два приятеля приблизились, шатаясь под тяжестью переживаний. Они прошли от площади Семи Ворот до базара Агуа-дос-Менинос, мимо откоса, где пристают рыбачьи лодки, мимо дома Кармелы и всюду сообщали печальную новость. Узнав о кончине Кинкаса, каждый считал своим долгом откупорить бутылку. Разве виноваты они, вестники смерти и горя, в том, что столько народу встретилось им на пути и что столько друзей и знакомых было у Кинкаса? В этот день в Баие начали пить гораздо раньше обычного. И всюду, где узнавали о смерти Кинкаса, потребление кашасы резко возрастало. Ничего удивительного, не каждый же день умирает Кинкас Сгинь Вода.

Забыв о драке, Капрал Мартин, держа колоду в руке, внимательно всматривался в лица друзей. Они плакали – это было ясно. Послышался сдавленный голос Прилизанного Негра:

– Умер отец наш...

– Господи боже, уж не губернатор ли? – спросил один из мальчишек, имевший склонность к юмору..

Негр поднял руку, и мальчишка полетел на землю.

Все поняли, что произошло нечто серьезное. Курио, подняв бутылку, объявил:

– Умер Кинкас Сгинь Вода!

Колода выпала из руки Мартина. Злобный торговец увидел подтверждение худших своих подозрений: карты рассыпались, тузы и дамы имелись в колоде в чрезмерно большом количестве. Но, услыхав имя Кинкаса, торговец понял, что теперь не до споров. Капрал Мартин взял у Курио бутылку, выпил все до дна и отбросил ее в сторону. Долго стоял он молча и смотрел на базар, на снующих людей, на улицу с ползущими по ней грузовиками и автобусами, на бухту с рыбачьими лодками... Внезапное ощущение пустоты охватило его, он ничего не слышал, даже птичек, распевавших в клетках в соседней лавке.

Мартин был не из тех, кто плачет: военным людям плакать не положено, даже если они в отставке. Он сощурился, в его голосе не слышалось больше никакого бахвальства, он стал почти детским:

– Как же это могло случиться?

Он подобрал карты и пошел вслед за приятелями.

Теперь осталось найти Ветрогона. Этот не имел определенного местопребывания, только по четвергам и воскресеньям его наверняка можно было найти на улице Свободы, где он неизменно принимал участие в капозйре. Ветрогон занимался ловлей мышей и лягушек и продавал их в лаборатории для медицинских исследований и научных опытов. Поэтому к нему относились с большим уважением и высоко ценили его суждения.

Ведь он тоже был немного ученым, он беседовал с докторами и знал всякие непонятные слова.

Проходив по городу немалое время и выпив порядочное количество кашасы, друзья наконец наткнулись на Ветрогона, который шел, запахнувшись в свой широкий пиджак, как будто ему было холодно, и что-то бормотал про себя. Он уже знал новость и тоже искал друзей. Увидав их, он сунул руку в карман (за платком, чтобы утереть слезы, подумал Курио). Но Ветрогон

извлек из глубины кармана маленькую зеленую лягушку, блестящую, словно изумруд.

– Я спрятал ее для Кинкаса. Никогда не встречал такой красивой.

IX

Они остановились в дверях; Ветрогон протянул руку: на ладони, выпучив глаза, сидела лягушка. Они топтались на пороге; Прилизанный Негр вытянул шею, чтоб лучше видеть.

Семейство прервало оживленную беседу, четыре пары глаз злобно впились в незваных гостей. «Только этого не хватало», – подумала Ванда. Ветрогон смутился и спрятал лягушку в карман. Капрал Мартин в отношении воспитанности уступал только Кинкасу, Сняв свою потертую шляпу, он раскланялся:

– Добрый вечер, дамы и господа. Мы хотели его видеть...

И шагнул в комнату. Остальные последовали за ним. Родственники отошли в сторону, и приятели обступили гроб. Курио подумал сначала, что произошла ошибка: у покойника не было ничего общего с Кийкасом Сгинь Вода. Только по улыбке можно было узнать его. Все четверо стояли пораженные: никогда они не могли представить себе Кинкаса таким чистым, хорошо одетым, шикарным... В один миг они растеряли всю свою смелость, даже опьянение прошло как по волшебству. В присутствии родных Кинкаса – особенно женщин – они оробели, растерялись, не знали, что делать с собою, куда девать руки, как стоять.

Курио, нарумяненный, комичный в своем изношенном фраке, смотрел на друзей, взглядом умоляя их уйти отсюда как можно скорее. Капрал Мартин размышлял, как генерал перед сражением, стремясь детально изучить силы противника. Ветрогон сделал шаг к двери. Один только Прилизанный Негр, все еще стоявший позади других, вытянув шею, не колебался ни секунды. Кинкас улыбался ему, и Негр улыбнулся тоже. Нет на свете такой силы, которая заставила бы его уйти отсюда, от папаши Кинкаса. Негр взял Ветрогона за руку и взглядом отверг просьбу Курио. И тогда Капрал Мартин понял: солдату не к лицу бежать с поля битвы. Все четверо отошли в глубину комнаты.

Так они и стояли молча – в одном углу семья Жоакима Соареса да Кунья: его дочь, зять, брат и сестра, в другом –

друзья Кинкаса Сгинь Вода. Ветрогон держал руку в кармане, поглаживая испуганную лягушку; ему так хотелось показать ее Кинкасу! Они двигались словно в каком-то странном танце – как только приятели отошли от гроба, к нему приблизились родственники. Ванда бросила на отца взгляд, полный презрения и упрека: даже после смерти он предпочитал общество этих оборванцев.

Конечно, он ждал их, из-за их опоздания волновался, он хотел видеть у своего гроба этих бродяг. А онато думала, что победила, что Кинкас сдался, – он перестал наконец ругаться, и Ванда решила, что отец сражен тем преисполненным достоинства молчанием, которым она встречала все его фокусы. Но когда Ванда готова была праздновать победу, на лице покойника вновь засияла улыбка. Сейчас он больше чем когда-либо был Кинкасом Сгинь Вода. Если бы не боязнь оскорбить память Отасилии, Ванда отказалась бы от борьбы, возвратила бы гроб в похоронное бюро, продала бы новую одежду за полцены какому-нибудь бродячему торговцу и оставила бы этот мерзкий труп на Ладейре-до-Табуан. Молчание становилось невыносимым.

Леонардо обратился к жене и тетке:

– Вам пора уходить. А то будет темно.

Несколько минут назад Ванда только этого и хотела – пойти домой и отдохнуть. Но теперь она сжала губы – нет, она не хочет сдаваться:

– Немного попозже.

Прилизанный Негр уселся на пол, прислонившись головой к стене. Ветрогон пнул его ногой: неприлично так усаживаться в присутствии родственников покойного. Курио все порывался уйти, Капрал Мартин укоризненно смотрел на Негра. Но Прилизанный оттолкнул ногу приятеля и заревел:

– Он был нашим отцом! Папаша Кинкас...

Ванда была ошеломлена. Леонардо и Эдуарде чувствовали себя так, словно получили пощечину или плевок в лицо. Одна только тетя Марокас заколыхалась от смеха.

– Какой забавный!

Очарованный, Прилизанный Негр перешел от рыданий к смеху. Его хохот был еще ужаснее воплей. Он гремел, заполняя всю комнату, но сквозь него до Ванды доносился еще чей-то смех – Кинкас веселился от всей души.

– Какое святотатство! – ее сухой голос разрушил зародившуюся было сердечность в отношениях с Негром.

Услыхав упрек, тетя Марокас поднялась со стула и принялась ходить по комнате. Прилизанный Негр с восхищением следил за ней глазами. Он осмотрел ее с ног до головы и пришел к заключению, что эта женщина в его вкусе; конечно, она уже немного старовата, бедняжка, но зато какая рослая, полная... Он ценил таких женщин. Не то что теперешние худосочные, их и обнять-то нельзя как следует! Вот бы встретиться с этой дамой на пляже, уж они бы не соскучились вдвоем. Стоит только на нее поглядеть – сразу видно, на что она способна. Тетя Марокас заявила, что хочет уйти: она переутомилась; да и нервы... Ванда молча заняла ее место у гроба. Она сидела на стуле, строго выпрямившись.

– Все мы устали, – сказал Эдуарде.

– Женщинам в самом деле лучше уйти... – Леонардо боялся вечерней Ладейры-до-Табуан, когда закрываются все магазины и улицей завладевают бродяги и проститутки.

Капрал Мартин, движимый стремлением к мирному сотрудничеству, вежливо предложил:

– Может, господа устали и хотят малость вздремнуть, так мы за ним присмотрим.

Эдуарде прекрасно понимал, что не следует этого делать: нельзя, чтобы все родственники ушли и покойник остался на попечении незваных посетителей. Но до чего же ему хотелось принять их предложение, ах, до чего хотелось! Целые дни он был на ногах – обслуживал покупателей, распоряжался... Как тут не устать!

Он привык рано ложиться, а вставать на рассвете и никогда не отступал от этого правила. Обычно, возвратясь из магазина, Эдуардо принимал душ и обедал.

После обеда садился в шезлонг, вытягивал ноги и в ту же минуту засыпал. Братец Кинкас доставлял ему одни неприятности. В течение целых десяти лет он только этим и занимался. И вот теперь Эдуардо вынужден не спать из-за него всю ночь, и при этом за весь день ему удалось съесть лишь несколько бутербродов. А почему бы, собственно, не оставить Кинкаса в компании бродяг, ведь это его приятели, он водил с ними дружбу в течение целых десяти лет?.. А им – членам почтенного семейства – совершенно нечего делать в его грязной

дыре. Это какая-то крысиная нора, и ни ему, ни Марокас, ни Ванде с Леонардо вовсе не место здесь.

Однако у него не хватало духу сказать то, что он думал. Ванда так дурно воспитана, она может напомнить ему, Эдуардо, о тех временах, когда он только еще начинал свою карьеру и не раз пользовался щедростью Кинкаса. Эдуардо посмотрел на Капрала Мартина довольно благосклонно.

Ветрогон, убедившись в бесплодности попыток принудить Прилизанного Негра встать, уселся с ним рядом. Ему очень хотелось вытащить лягушку пусть бы она попрыгала. В жизни он не встречал такой красивой! Курио в детстве провел несколько лет в иезуитском приюте и теперь силился извлечь из ослабевшей памяти какую-нибудь молитву. Он не раз слышал, что по покойникам полагается молиться. И в приюте отцы иезуиты... Да, а священник уже был или придет завтра? Этот вопрос вертелся у Курио на языке, и он не выдержал:

– А что, падре уже был?

– Придет завтра утром... – ответила Марокас..

Ванда укоризненно взглянула на нее: зачем она разговаривает с этим типом? Но все же теперь Ванда чувствовала себя лучше – ей удалось отогнать бродяг в угол, она заставила их молчать. Достоинство восстановлено. В конце концов ведь нельзя же ей и тете Марокас сидеть здесь всю ночь. Вначале она смутно надеялась, что безобразные приятели Кинкаса не станут долго задерживаться, поскольку на этом велорио не было ни выпивки, ни закуски. Она не понимала, почему они все еще торчат здесь, не из дружеских же чувств к покойному: эти люди не знают, что такое дружба.

Впрочем, даже присутствие таких приятелей не имеет никакого значения. Лишь бы они не вздумали принять участие в похоронной процессии. Завтра утром она, Ванда, об этом позаботится, она вернется сюда и распорядится как следует. Возле покойного будут только его родственники, они и похоронят Жоакима Соареса да Кунья скромно и прилично. Она встала и позвала Марокас:

– Пойдем. – И добавила, обращаясь к Леонардо: – Не задерживайся особенно долго, тебе вредно не спать ночь. Ведь дядя Эдуарде обещал остаться до утра.

Эдуарде кивнул и уселся на стул. Леонардо пошел проводить женщин до трамвая. Капрал Мартин решился сказать им вслед: «Доброй ночи, мадам», однако не получил ответа.

Комнату освещали только свечи. Прилизанный Негр уснул и отчаянно храпел.

X

В десять часов вечера Леонардо поднялся с ящика из-под галет и подошел поближе к свечам, чтобы взглянуть на часы. Эдуарде, открыв рот, спал на стуле. Леонардо разбудил его:

– Я ухожу. В шесть часов утра приду сменить тебя. Ты успеешь сходить домой переодеться.

Эдуардо вытянул ноги и вспомнил свою удобную кровать. Болела шея. В углу негромко, но горячо спорили: кто именно, Курио, Ветрогон или Капрал Мартин, займет место Кинкаса в сердце и на ложе Пучеглазой Китерии. Капрал Мартин проявил возмутительный эгоизм, не соглашаясь вычеркнуть себя из числа наследников, несмотря на то что ему ведь и так принадлежало сердце стройной негритянки Кармелы. Когда шаги Леонардо смолкли на улице, Эдуардо посмотрел на друзей Кинкаса. Они замолчали. Капрал Мартин улыбнулся коммерсанту. Эдуардо с завистью глядел на сладко спавшего Прилизанного Негра. Попытался устроиться получше, положив ноги на ящик.

Невыносимо болела шея. Ветрогон наконец не выдержал, он вынул лягушку из кармана и посадил на пол.

Лягушка запрыгала, такая забавная, будто маленький гномик.

Эдуардо никак не мог заснуть. Он неподвижно смотрел на мертвеца. Вот кому удобно лежать! И какого черта Эдуардо сидит здесь, как сторож? Мало разве того, что он пойдет на похороны, что он взял на себя часть расходов? Он выполнил свой долг по отношению к брату, даже с лихвой, если учесть, о каком брате идет речь. Ведь такого скандалиста и безобразника, как Кинкас, свет не видывал!

Он встал, размялся немного и широко зевнул. Ветрогон держал в кулаке маленькую зеленую лягушку.

Курио думал о Пучеглазой Китерии. Вот это женщина!.. Эдуардо подошел к ним:

– Скажите-ка...

Капрал Мартин, психолог по призванию и.по необходимости, вытянулся перед ним.

– К вашим услугам, начальник.

Как знать, а вдруг коммерсант распорядится послать за бутылкой, чтобы быстрее проходила длинная ночь?

– Вы останетесь здесь до утра?

– С ним? Да, сеньор. Мы его друзья.

– Тогда я пойду домой, отдохну немного. – Эдуарде вытащил из кармана бумажку. Капрал, Курио и Ветрогон напряженно следили за его движениями. Вот вам, купите себе бутербродов. Но не оставляйте его одного. Ни на минуту, слышите!

– Можете отдыхать спокойно, мы составим ему компанию.

Прежде чем начать пить, Курио и Ветрогон закурили; Капрал Мартин тоже вынул сигару в пятьдесят сентаво, черную, крепкую: только настоящий курильщик может понять, что это за сигара. Он пустил сильную струю дыма в нос Негру, но тот даже не шевельнулся.

Однако как только откупорили бутылку, ту самую первую бутылку, которую, как утверждают родные Кинкаса, Капрал принес под рубашкой, Негр почуял запах кашасы и тотчас же проснулся. Он открыл глаза и потребовал, чтобы и ему дали глотнуть.

С первого же глотка в четырех друзьях проснулся дух критицизма. Эти родичи Кинкаса задирают нос, а сами, сразу видно, мерзкие скряги. Ничего не сумели сделать как следует. Где стулья для посетителей?

Где выпивка и угощение, как полагается даже в самых бедных домах? Капрал Мартин не раз бывал на велорио, но никогда еще не видел такого. Все сделано небрежно, кое-как, без всякого старания. Последние бедняки в таких случаях все-таки считают своим долгом подать хоть чашечку кофе и рюмочку кашасы. Кинкас не заслужил подобного унижения. Важничают, чуть не лопаются от спеси, а сами даже не угостили ничем друзей покойного! Курио и Ветрогон отправились на поиски чего-нибудь съестного. Кроме того, они получили задание раздобыть какие-нибудь ящики, чтоб можно было сидеть. Капрал Мартин решил обставить велорио более или менее прилично. Он уселся на единственный стул и начал командовать – принести ящики, купить кашасы... Прилизанный Негр одобрительно кивал.

Надо признать, что сам покойник выглядел прилично, тут семейство постаралось. Костюм новый, туфли тоже, все очень даже шикарно. И свечи красивые, из церкви. Ну а цветы? Забыли? Где же это видано, чтобы покойнику не принесли цветов?

– Вид-то у него что надо! – сказал Прилизанный Негр. – Настоящий сеньор.

Кинкас улыбнулся на похвалу, и Негр ответил ему улыбкой.

– Папаша... – сказал он растроганно и ткнул Кинкаса пальцем под ребро, как делал обычно, когда слышал от него удачную остроту.

Вернулись Курио и Ветрогон и принесли два ящика, кусок колбасы и несколько бутылок. Друзья уселись в кружок возле покойника, и тут Курио предложил всем вместе прочитать «Отче наш». Ценой неслыханного напряжения ему удалось припомнить молитву почти целиком. Остальные неуверенно поддержали. Читать молитву было делом нелегким. Прилизанный Негр знал несколько заклинаний, обращенных к Ошуму и Ошале[11]; этим и ограничивалось его религиозное образование. Ветрогон не молился уже лет тридцать.

Капрал Мартин полагал, что ходить в церковь и молиться – значит проявлять слабость, мало приличествующую человеку военному. Однако все честно старались. Курио начинал, приятели подхватывали, как могли. В конце концов Курио, стоявший на коленях со скорбно склоненной головой, не выдержал:

– Стадо ослов!

– Практики не хватает... – пояснил Капрал. – Все-таки кое-что вышло. Остальное сделает завтра падре.

Кинкас остался равнодушен к молитве, наверно, ему было жарко в плотном костюме. Прилизанный Негр смотрел на друга. Надо все-таки что-нибудь для него сделать, раз молитва не получилась. Может быть, спеть ему из кандомбле? Что-то они ведь должны сделать!

Он обратился к Ветрогону:

– Где твоя жаба? Дай ему...

– Это не жаба, а лягушка. Только зачем она ему теперь?

– А может, ему понравится.

Ветрогон достал лягушку и осторожно положил ее на скрещенные руки Кинкаса. Мерцающее пламя свечей осветило

лягушку, зеленоватые отблески вспыхнули на лице трупа. Лягушка прыгнула и спряталась в глубине гроба.

Капрал Мартин и Курио снова заспорили из-за Пучеглазой Китерии. Выпив, Курио сделался воинственнее и энергично поднимал голос в защиту своих интересов. Прилизанный Негр возмутился:

– Не стыдно вам спорить тут, у него на глазах?

Он еще ее остыл, а вы, как урубу[12], набросились на падаль.

– Пусть он сам решит... – предложил Ветрогон.

Он надеялся, что Кинкас выберет его в наследники и именно ему завещает Китерию, свою единственную собственность. Разве не он принес Кинкасу в подарок зеленую лягушку, самую замечательную из всех, что ему приходилось видеть?

– Гм! – послышалось из гроба.

– Видите? Ему этот разговор не по душе, – рассердился Негр.

– Надо ему тоже дать глотнуть... – сказал Капрал. Ему хотелось заслужить благодарность покойника.

Кинкасу открыли рот и принялись вливать в него кашасу. Кашаса полилась на пиджак, на рубашку...

– Я еще не видел, чтобы кто-нибудь пил лежа...

– Надо его посадить. Так он и нас будет лучше видеть.

Кинкаса усадили на ящик, его голова качалась из стороны в сторону. После глотка кашасы он улыбался еще шире.

– Хороший пиджак... – Капрал Мартин рассматривал материю. – Глупо надевать новый костюм на покойника. Умер – и конец, отправляйся в землю. Кормить червей хорошей одеждой... а ведь сколько людей, которым нечего носить...

– Вот это чистая правда, – поддержали все.

Кинкасу дали еще глоток, он качнул головой, конечно, он тоже не возражал, он всегда соглашался с разумными доводами.

– И потом он испортит костюм кашасой,

– Лучше снять с него пиджак.

Казалось, Кинкасу стало легче, когда с него стянули тяжелый плотный черный пиджак. Но он все выплевывал кашасу, пришлось снять и рубашку. Курио загляделся на блестящие ботинки покойника; его собственные были все в дырах.

– Зачем мертвецу новые ботинки, правда, Кинкас? А мне они как раз по ноге.

Прилизанный Негр притащил старую одежду друга, брошенную в углу комнаты. Кинкаса одели, и тогда все узнали его:

– Вот это и вправду наш старый Кинкас.

Друзья повеселели. Кинкас, похоже, тоже был доволен, в старой одежде ему было удобнее. Особенно он был благодарен Курио – проклятые ботинки так жали ноги! Но этот дурак вздумал полезть к Кинкасу с разговорами насчет Китерии. Он стал шептать ему что-то на ухо. Разве можно так делать? Ведь говорил же Прилизанный Негр, что это раздражает Кинкаса! Покойник рассердился и выплюнул струю кашасы прямо в лицо Курио. Приятели задрожали от страха.

– Он взбесился.

– Я же говорил!

Ветрогон надел новые брюки, пиджак достался Капралу. Рубашку Прилизанный Негр выменяет в знакомой таверне на бутылку кашасы. Капрал Мартин вежливо сказал Кинкасу:

– Я не хочу никого обижать, но, говоря откровенно, твоя семейка довольно-таки бережлива.

– Сквалыги... – уточнил Кинкас.

– Раз ты сам так говоришь, значит, правда. Мы боялись оскорбить их, в конце концов ведь это твои родственники. Но что за скряги!.. Даже выпивка за наш счет, где это видано! Такого велорио еще не бывало!

– И ни одного цветка... – поддержал Прилизанный. – Чем иметь таких родственников, лучше их совсем не иметь.

– Мужчины – болваны. Женщины – гадюки, – четко произнес Кинкас.

– Но послушай, папаша, толстуха все-таки кое-чего стоит...

– Вонючка жирная!

– Не говори, папаша. Немного перезрела, но не так-то уж она плоха. Я встречал и похуже.

– Ты, Негр, осел. Не смыслишь в женщинах.

Ветрогон совсем некстати вставил:

– Вот Китерия хороша, верно, старик? Что она теперь будет делать? Я даже...

– Заткнись, несчастный! Не видишь, он злится?

Но Кинкас не слышал Ветрогона. В эту самую минуту Капрал Мартин сделал попытку обделить его на целый глоток кашасы.

Кинкас мотнул головой и так стукнул по бутылке, что чуть не разбил ее.

– Дай папаше кашасы... – сказал Прилизанный Негр.

– Он проливает, – возразил Капрал.

– Пусть пьет, как хочет. Имеет право.

Капрал Мартин сунул бутылку в открытый рот Кинкаса.

– Успокойся, приятель. Я не хотел тебя обидеть. На, пей на здоровье. Ведь нынче твой праздник...

Они перестали говорить о Китерии. Было совершенно ясно, что Кинкас не разрешает касаться этого вопроса.

– Хорошая водка! – похвалил Курио.

– Барахло! – решил Кинкас, который был знатоком.

– Ну так ведь и цена...

Лягушка прыгнула Кинкасу на грудь. Он полюбовался ею и тут же спрятал в карман старого засаленного пиджака.

Луна поднималась над городом и над морем, луна Баии лила в окно свое серебряное сияние... Ветер с моря погасил свечи, гроба больше не было видно. С улицы доносились звуки гитары, женский голос пел о муках любви. Капрал Мартин тоже запел.

– Он обожает песни...

Они пели вчетвером, бас Прилизанного Негра заполнял всю улицу и замирал далеко в бухте, где стояли баркасы. Кинкас не отставал ни в чем. Раньше он пил вместе со всеми, а теперь слушад пение, он ведь любил кантиги.

Наконец они устали петь, и Курио сказал:

– Кажется, сегодня вечером мокека у Рулевого Мануэла?

– Конечно, сегодня. Мокека из ската, – прибавил Ветрогон.

– Никто не умеет готовить ее лучше, чем Мария Клара, – заявил Мартин.

Кинкас прищелкнул языком. Прилизанный Негр рассмеялся:

– Он до смерти любит мокеку.

– А почему бы нам не пойти? Рулевой Мануэл может даже обидеться, если мы не придем.

Приятели переглянулись. Немного поздно, да к тому же придется еще заходить за женщинами. Курио колебался:

– Мы ведь обещали не оставлять его одного.

– А почему одного? Он пойдет с нами.

– Я хочу есть, – заявил Прилизанный Негр, Посоветовались с Кинкасом:

– Хочешь пойти?

– А что я калека, что ли, чтобы оставаться здесь?

Еще один глоток – и бутылка пуста. Кинкаса поставили на ноги. Прилизанный Негр заметил:

– Он так пьян, что не держится на ногах. С годами он становится слабее. Пошли, папаша!

Курио и Ветрогон зашагали впереди. Кинкас, довольный жизнью, танцующей походкой шел между Прилизанным Негром и Капралом Мартином, которые вели его под руки.

XI

По-видимому, этой ночи суждено было стать незабываемой. Кинкас Сгинь Вода переживал лучшие минуты своей жизни. Необычайное воодушевление охватило компанию: им принадлежит эта небывалая ночь, для них стоит над Баией полная луна, заливая город таинственным светом. Под столетними порталами на площади Позорного Столба прятались парочки, мяукали на крышах коты, стонали гитары. Ночь была полна очарования, издали неслись звуки атабаке[13], все казалось призрачным, нереальным...

Кинкас Сгинь Вода веселился вовсю: он подставлял ножку Капралу и Негру, показывал встречным язык, сунулся в какой-то подъезд посмотреть, что делает укрывшаяся там парочка. На каждом шагу он валился и чуть было не растянулся на мостовой. Друзья не торопились, время принадлежало им. Они не чувствовали его власти над собою и верили, что эта волшебная ночь будет длиться долго, может быть, целую неделю.

Ибо, как утверждал Прилизанный Негр, нельзя же день рождения Кинкаса Сгинь Вода отпраздновать за какие-нибудь несколько часов. Кинкас не отрицал, что сегодня день его рождения, хотя никто не помнил, чтобы его праздновали когда-нибудь прежде. Случалось им отмечать многочисленные помолвки Курио, дни рождения Марии Клары и Китерии, а иногда даже какое-нибудь научное открытие, сделанное одним из клиентов Ветрогона. На радостях ученый вручал обычно своему «скромному сотруднику» бумажку в пятьсот крузейро. Но день рождения Кинкаса праздновался впервые, и надо было отметить его как полагается.

Они шли по склону горы к площади Позорного Столба, к дому Китерии.

Странно: в барах на Сан-Мигел не было обычного шума. В эту ночь все выглядело по-иному.

А может быть, полиция сделала облаву, и бары закрыты, а Китерию, Кармелу, Доралисе, Эрнестину и толстую Маргариту увели агенты? Как бы и им не попасть в ловушку! Капрал Мартин принял на себя командование, Курио отправили вперед.

– Ступай на разведку, – приказал Капрал.

В ожидании они сели на ступени церкви. Оказалось, что имеется еще одна бутылка. Кинкас лег, он смотрел в небо и улыбался при свете луны.

Курио вернулся в сопровождении шумной компании, вопившей «вива» и «ура». Впереди всех, поддерживаемая двумя приятельницами, величественно выступала безутешная вдова Пучеглазая Китерия, вся в черном и в кружевной мантилье.

– Где он? Где он? – кричала она в волнении.

Курио поспешно взбежал по ступеням. Он походил в своем потертом фраке на митингового оратора.

– Пронесся слух, будто бы Кинкас протянул ноги, и город погрузился в траур. – Все рассмеялись, Кинкас смеялся тоже, – Так от он здесь, люди добрые, сегодня день его рождения, и мы отпразднуем его на баркасе у Рулевого Мануэла.

Пучеглазая Китерия высвободилась из объятий полных сочувствия Доралисе и толстой Марго и хотела кинуться к Кинкасу, который сидел теперь на ступеньке рядом с Прилизанным Негром. Но, видно, потрясенная всем происходящим, она не могла удержаться на ногах и уселась прямо на мостовую. Ее тотчас же подняли и подвели к Кинкасу.

– Бандит! Собака! Негодяй! Ведь вздумается же такое – распускать слухи, будто ты умер, и пугать людей?

Она села возле улыбающегося Кинкаса, взяла его руку и положила себе на грудь, чтобы он ощутил биение ее встревоженного сердца:

– Я чуть с ума не сошла, а он, оказывается, веселится, окаянный. Ну что с тобой делать? Дьявол ты, а не человек, вечно что-нибудь придумаешь! Какой ты бесчувственный, Сгинь Водичка, совсем ты меня не жалеешь, ведь ты меня просто убил...

Все смеялись, шутили; в тавернах вновь зашумел народ, Ладейра-де-Сан-Мигел ожила. Компания направилась к дому

Китерии. Она была в этот вечер чрезвычайно хороша: в черном платье, такая соблазнительная...

Они шли по Ладейре-де-Сан-Мигел и всюду встречали привет и дружбу. Немец Хансен, хозяин бара «Цветок Сан-Мигел», пригласил их выпить по рюмке кашасы. Француз Верже подарил дамам африканские амулеты. Он не мог присоединиться к ним, так как этой ночью ему надо было выполнять обет, данный святому.

Двери домов открывались, женщины выглядывали из окон, выходили на улицу. Имя Кинкаса слышалось повсюду, ему кричали «ура». Кинкас кивал в знак благодарности, словно король, возвратившийся на трон.

В доме Китерии все было погружено в траур. В спальне на комоде, между литографией, изображающей Христа, и глиняной статуэткой кабокло[14] Ароэйра, ее покровителя, красовался портрет Кинкаса, вырезанный из газеты, где он был напечатан в качестве иллюстрации к серии очерков Джованни Гимараэнса «Баиянское дно». По бокам портрета горели две свечи, а перед ним лежала красная роза. Доралисе, ближайшая подруга Китерии, откупорила бутылку и разлила кашасу в синие рюмки. Китерия погасила свечи, Кинкас свалился на постель. Гости перешли в столовую. Вскоре Китерия присоединилась к ним.

– Он заснул, бедняга...

– Перепил... – пояснил Ветрогон.

– Пусть поспит немного, – сказал Прилизанный Негр. – Он имеет право...

Но поскольку они и так уже опоздали к Рулевому Мануэлу, то вскоре пришлось разбудить Кинкаса. Китерия, негритянка Кармела и толстая Марго отправились вместе с ними. Доралисе пришлось остаться – ей сообщили, что нынче вечером придет доктор Кармино. Ну, а доктор Кармино, сами понимаете, – он ведь дает ей деньги каждый месяц, нельзя же обидеть такого человека.

Они надеялись, что застанут баркас еще у причала.

Спустились по склону. Теперь они спешили, Кинкас шел в обнимку с Китерией и Прилизанным Негром, он спотыкался о камни и тяжело виснул на плечах Друзей.

По дороге пришлось все же остановиться в баре Казузы, старого друга. У бара была дурная слава, каждый вечер здесь что-нибудь случалось. У Казузы собирались курильщики маконьи.

Он был приветлив и всегда давал в долг несколько рюмок, а иногда даже целую бутылку. Неловко являться на баркас с пустыми руками; решили потолковать с Казузой, не удастся ли раздобыть у него в долг литра три кашасы. Капрал Мартин, отличавшийся редким дипломатическим искусством, подошел к стойке и шепотом начал переговоры с хозяином, который никак не мог прийти в себя от изумления, видя Кинкаса Сгинь Вода в великолепном настроении. Остальные уселись опрокинуть по рюмке за счет заведения для возбуждения аппетита и в честь дня рождения Кинкаса. В баре было полно народу: хмурые курильщики маконьи, веселые моряки, женщины, болтавшие о последних новостях, шоферы...

Драка началась внезапно и чрезвычайно эффектно.

Похоже, что и в самом деле виноват был Кинкас. Он сидел, склонив голову на грудь Китерии и вытянув ноги. Как утверждают, один из курильщиков маконьи, проходя мимо, споткнулся о ноги Кинкаса и чуть не упал. Парень разразился ругательствами. Прилизанному Негру это не понравилось: Кинкас имел право делать все что угодно, в том числе вытягивать ноги, как ему заблагорассудится. Негр высказал свое мнение вслух. Парень промолчал. Казалось бы, тем все и кончилось. Однако через несколько минут еще какой-то тощий тип из той же компании курильщиков маконьи тоже пожелал пройти. Он попросил Кинкаса подвинуться, но Кинкас сделал вид, что не слышит. Тощий парень рассвирепел и, бешено ругаясь, толкнул Кинкаса. Тот ударил его головой, и драка началась. Прилизанный Негр поднял парня вверх и, по своей обычной манере, швырнул его на другой стол. Разъяренные приятели парня кинулись в наступление. Невозможно передать, что было дальше. Прекрасная Китерия, вскочив на стул, размахивала бутылкой. Командование принял на себя Капрал Мартин.

Побоище завершилось полной победой друзей Кинкаса, на помощь которым пришли шоферы. Курильщики маконьи бежали. Ущерб, нанесенный неприятелем, оказался значительным: у Ветрогона под глазом красовался синяк, Курио оторвали полу фрака. Кинкас лежал неподвижно, ему, как видно, здорово досталось, и к тому же он сильно ударился головой о каменный пол. Китерия склонилась над Кинкасом, пытаясь привести его в чувство. Казуза философски созерцал перевернутую стойку, опрокинутые столы и разбитые стаканы. Дело привычное, и

потом ведь это реклама: после такого сражения в баре будет больше посетителей.

Он и сам знал толк в доброй драке.

От глотка кашасы Кинкас пришел в себя. Он все еще как-то странно пил: часть жидкости выливалась обратно из его рта, словно бы он ее выплевывал. Если бы не день его рождения, Капрал Мартин в деликатной форме обратил бы на это его внимание. Все направились в порт.

Рулевой Мануэл не ждал их в столь поздний час.

Кушанье было уже готово, Мануэл не собирался выходить в море, поскольку гости не явились, и вокруг глиняного горшка сидели одни рыбаки. В глубине души Мануэл ни на минуту не верил в смерть Кинкаса. Не может старый моряк умереть на суше, в какой-то постели. Поэтому он ничуть не удивился, увидев Кинкаса под руку с Китерией.

– Скатов много, хватит на всех...

Вытянули большой камень, служивший якорем, подняли парус. На воде серебрилась лунная дорожка.

Вдали, на горе, чернела Баия. Баркас медленно отчалил. Мария Клара громко запела морскую песню:

На дне моря тебя я нашел

В ожерелье из раковин нежных...

Гости подсели к дымящемуся горшку. Глиняные миски быстро наполнялись мокекой из ароматного ската, с дендэ и перцем. Бутылка кашасы ходила по кругу. Капрал Мартин всегда зорко смотрел в будущее и обладал даром провидения. Поэтому, руководя побоищем в баре, он в то же время ухитрился стянуть в суматохе несколько бутылок, которые дамы укрыли под своей одеждой. Кинкас и Китерия ничего не ели: они лежали на корме и под звуки песни Марии Клары пучеглазая красавица шептала старому моряку слова любви.

– Зачем ты так напугал меня, противный Сгинь Водичка? Ты ведь знаешь, что у меня слабое сердце, врач не велел мне волноваться. Неужели ты думаешь, что я могла бы жить без тебя, мерзкий ты человек?

Я привыкла к тебе, к твоим безумствам и к твоей мудрости, к твоим дурным манерам и к твоему добродушию. Зачем ты так поступил со мною? – Она обнимала раненную в драке голову Кинкаса, целовала его лукавые глаза, Кинкас не отвечал, он впитывал в себя морской воздух, его рука свешивалась за борт,

от нее по воде тянулся след. Вначале все шло хорошо: голос Марии Клары, чудесное угощение, свежий бриз, свет луны и шепот Китерии. Но неожиданно с юга надвинулись облака. Луна скрылась, звезды погасли, ветер крепчал и становился опасным. Рулевой Мануэл сказал:

– Будет шторм, лучше повернуть назад.

Он хотел вернуться в гавань до начала бури. Но так хороша была кашаса, так приятна дружеская беСеда, а в горшке в масле дендэ плавало еще так много скатов! И голос Марии Клары навевал тихую грусть.

Не хотелось расставаться с морем. И потом, разве можно было нарушить идиллию, разлучить Кинкаса с Китерией в эту праздничную ночь?

Вот почему случилось так, что буря застигла их в пути. Ветер выл, волны пенились, молнии прорезали темноту. Начался дождь. Вдали сверкали огни Баии. Рулевой Мануэл стоял у штурвала, посасывая трубку.

Никто не видел, как Кинкас поднялся. Он стоял, прислонившись к мачте. Китерия не сводила влюбленных глаз с фигуры старого моряка. Кинкас улыбался волнам, лизавшим борта, и молниям, сверкавшим во мраке. Мужчины и женщины хватались за канаты, цеплялись за борт... Ветер свистел, маленькому суденышку каждую минуту угрожала гибель. Мария Клара больше не пела, она стояла у штурвала рядом с возлюбленным.

Волны перекатывали через палубу, ветер рвал паруса. В темноте по-прежнему светился огонек трубки Рулевого Мануэла, и Кинкас, старый моряк, все также неподвижно и величаво стоял среди бушевавшего шторма. Баркас медленно, с трудом входил в тихие воды защищенной от ветра бухты. Еще немного, и можно будет снова начать веселье.

Но тут небо прорезали одна за другой пять молний, гром загрохотал с такой силой, будто возвещал конец света, и огромная волна подняла баркас. Все невольно вскрикнули, толстая Марго завопила:

– Пресвятая дева, спаси и помилуй!

Баркас накренился. Среди рева разъяренных волн послышались последние слова Кинкаса, и при свете молний было видно, как он бросился за борт. Парусник вошел спокойно в

бухту, а Кинкас, закутанный в белый саван из морской пены, погрузился в бурную пучину вод. Он всегда хотел так умереть.

XII

Похоронное бюро не приняло гроб обратно даже за полцены. Пришлось за него расплатиться. Свечи Ванда сумела использовать в хозяйстве. Гроб же до сего дня находится в магазине Эдуарде, который не теряет надежды продать его для какого-нибудь второсортного покойника. Насчет же последних слов Кинкаса имеются самые различные версии. Да и кто мог ясно расслышать их в такую бурю? А если верить рыночному трубадуру, то дело было так:

Ревела буря и выла,
И громко Кинкас сказал:
«Час мой, о други, настал,
Я сам этот час избрал,
Пусть море мне будет могилой.
Гроб мне семейство купило,
Тратили зря капитал
Море меня приютило...»
Дальше никто не слыхал
Буря слова заглушила.

Примечания

1

Подъемник Ласерды – большой лифт, служащий для подъема пешеходов в верхнюю часть города Салвадор.

2

Мингау – сладкая каша из пшеничной или маниоковой муки.

3

Акараже – блюдо из вареной фасоли, поджаренной в пальмовом масле.

4

Абара – блюдо, приготовляемое из вареной фасоли, приправленной перцем и маслом пальмы дендэ.

5

Кандомбле – негритянский религиозный обряд, сопровождаемый танцами и пением.

6

Шанго могущественное божество из негритянской мифологии.

7

«Порринья», «ронда», «семь с половиной» – азартные карточные игры.

8

Капоэйра – атлетическая игра, проходящая под музыку. Участники ее совершают характерные резкие движения, симулируя нападение друг на друга с ножом.

9

Мать бога – жрица в негритянском религиозном обряде «макумба».

10

«Жого до бишо» – «звериная игра» (португ.) – популярная в Бразилии подпольная лотерея, в которой играют на билеты государственной лотереи. Ставки делаются на конечные цифры номера билета, выигравшего в государственной лотерее. Название игры связано с тем, что каждая группа из четырех дифр соответствует названию какого-либо животного.

11

Ошум и О шала – негритянские языческие божества.

12

Урубу – южноамериканский гриф.

13

Атабаке – барабан.

14

Кабокло – метис; бедный крестьянин.

Габриэль Гарсиа Маркес

из сборника

“Глаза голубой собаки”

Глаза голубой собаки

Итак, она взглянула на меня. Показалось, будто она впервые меня видит. Но когда она обернулась за керосиновой лампой и я снова почувствовал на себе ее одновременно невесомый и пристальный взгляд, то осознал, что сам впервые по-настоящему увидел ее. Я закурил сигарету. Глубоко затянулся терпким дымом, сместил центр тяжести стула на одну из ножек и повернулся. Тут я увидел ее так, словно она все ночи стояла там, у лампы, и смотрела на меня. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я – присев и балансируя на ножке стула. Она – стоя, протянув к лампе длинную изящную руку. Я видел ее веки, как всегда по вечерам, подкрашенные. И, вспомнив то, всегдашнее, промолвил:

– Глаза голубой собаки.

Держа руку над лампой, она сказала:

– Вот именно. И мы уже никогда не забудем этого. – Вздохнув, она шагнула из круга света: – Глаза голубой собаки. Я всюду это писала.

Я наблюдал, как она приближается к туалетному столику. Как, появившись в лунном круге зеркала, смотрит на меня, будто из зазеркалья, не отличающегося, впрочем, от нашего мира. Смотрит, раскрывая перламутрово-розовую пудреницу и припудривая нос, своими огромными опаляюще пепельными глазами. Затем она закрыла пудреницу, вновь подошла к лампе и произнесла:

– Если эта комната еще кому-нибудь приснится, я буду вынуждена вернуться к себе. – И опять вытянула над лампой длинную вздрагивающую руку, ту же, которую согревала до того, как села у зеркала. – А ты не боишься холода.

– Иногда.

– Но сейчас тебе холодно.

И я понял, отчего не мог не быть одиноким. Холод удостоверял мое одиночество.

– Да, зябко. Странно, ведь ночь теплая. Наверное, сползла простыня.

Она снова приблизилась к зеркалу, а я принялся вертеться на стуле, стараясь располагаться к ней спиной. Но и не глядя на нее, я знал, что́ она делает. Видел, что она сидит у зеркала и смотрит мне в спину. Ее взгляд пронзал насквозь, а рука опять потянулась к губам, уже ярко накрашенным. Она была перед моими глазами, на гладкой стене, похожей на иное – не отражающее – зеркало. В нем я видел, что она сидит позади меня, и воображал, где она сейчас, будто на месте стены и в самом деле было зеркало.

– Я тебя вижу, – сказал я и как бы заметил на стене: она подняла ресницы и посмотрела на мою спину в глубине зеркала, на меня, отвернувшегося к стене.

Она опустила голову, не промолвив ни слова, направив свой взгляд на грудь. И

я повторил:

– Я тебя вижу.

Подняв голову, она сказала:

– Не может быть.

Я спросил:

– Почему?

Она, вновь опустив голову, произнесла:

– Потому что ты смотришь в стену.

Я повернулся с зажатой в губах сигаретой. Она приблизилась к лампе, пока я смотрел в зеркало. Обжигаясь, протянула над огнем руки, как курица крылья, и тени от пальцев легли ей на лицо.

– Я все время мерзну, – призналась она. – Ледяной город. – Она повернулась в профиль, ее огненно-медное лицо было печальным.

– Согрейся, чтобы совсем не замерзнуть, – посоветовал я.

И она стала снимать с себя все.

– Я отвернусь.

Она ответила:

– Не стоит. Ты все равно видишь спиной. – Продолжая говорить, она разделась почти донага. Языки отблесков огня вылизывали ее тугую медную кожу.

Я сказал:

– Я хотел увидеть тебя такой, у тебя на коже живота глубокие поры, будто ты выточена из дерева.

Она застыла, еще до того, как я осознал, что слова мои вульгарны по отношению к ее наготе, и сказала, согреваясь в круге света от лампы:

– Порой мне представляется, что я из металла.

Минуту висело молчание, пока она медленно поворачивала руки над огнем.

Я сказал:

– Но иногда, в каких-то иных снах, я видел тебя бронзовой статуэткой в углу музея. Может, поэтому тебе так холодно.

И она сказала:

– Когда я сплю на левом боку, на сердце, то ощущаю, как тело делается пустым, а кожа превращается в лист железа. Когда кровь пульсирует, такое чувство, будто постукивают пальцами по животу, и я, лежа в постели, слышу медные звуки. Листы прокатной стали, как ты говоришь. – Она приблизилась к лампе.

Я сказал:

– Хотел бы тебя услышать.

Она сказала:

– Если мы когда-нибудь встретимся, ты прижмись ухом к моей спине, когда я сплю на левом боку, и услышишь, как я звучу. Я всегда хотела, чтобы ты так сделал.

Она глубоко вздохнула и добавила, что уже много лет не хочет ничего иного. Ее

жизнь была ради встречи со мной. Встречи, пароль которой знали только мы: «Глаза голубой собаки». И она бродила по городу, твердя его во весь голос, дабы тот, единственный, мог услышать.

– Я та самая, что входит каждую ночь в твои сны и говорит: «Глаза голубой собаки».

Она сказала, что заходила в рестораны и, делая заказ по меню, говорила официантам: «Глаза голубой собаки». Официанты услужливо кивали, но никто из них в своих снах не слышал о таком блюде. Она писала на салфетках, выцарапывала ножом на полировке столиков: «Глаза голубой собаки». И на покрытых пылью окнах отелей, железнодорожных станций, любых общественных заведений она писала пальцем: «Глаза голубой собаки». А однажды, подойдя к какой-то лавке, почувствовала тот же запах, что сопровождал в ее комнате сон обо мне. «Он должен быть тут», – решила она и вошла в лавку, облицованную новым блестящим кафелем. Подошла к продавцу:

– Мне беспрерывно снится человек, который говорит мне: «Глаза голубой собаки».

Продавец внимательно посмотрел ей в глаза, и она продолжила:

– Мне очень нужно найти его, говорящего в моих снах: «Глаза голубой собаки».

Продавец засмеялся и ушел за прилавок. А она глядела на блестящие плитки и чувствовала тот же запах. Открыла сумочку, опустилась на колени и ярко-красной помадой громадными буквами написала на плитках: «Глаза голубой собаки». Продавец снова приблизился к ней и сказал:

– Вы испачкали пол, сеньора. – И протянул ей влажную тряпку, сказав: – Сотрите.

И она рассказала, по-прежнему стоя у лампы, что весь день ползала на четвереньках, оттирая пол и твердя: «Глаза голубой собаки», а в дверях толпился народ, и все уверяли, будто у нее якобы поехала крыша.

Она умолкла, я сидел, балансируя в углу на ножке стула.

– Дни напролет стараюсь вспомнить фразу, которая поможет найти тебя, – произнес я. – Теперь мне кажется, что завтра утром я ее не забуду. Я повторяю ее во сне, а проснувшись, неизменно забываю слова, благодаря которым могу найти тебя.

Она сказала:

– Еще в первый раз ты сам их выдумал.

Я сказал:

– Я выдумал их потому, что увидел твои огромные пепельные глаза. И все же я не могу вспомнить эти слова утром.

Сцепив кисти и протянув их к лампе, она глубоко вздохнула и произнесла:

– Во всяком случае, мог бы вспомнить, в каком городе я их писала.

Крепко сжатые губы блестели в свете лампы.

– Я хочу прикоснуться к тебе, – сказал я.

Она подняла голову, направив на меня свой взгляд, опаляющий, как и ее руки; я понял, что наконец-то она увидела меня, раскачивающегося в углу на стуле.

– Ты никогда не говорил мне этого.

– Вот сейчас говорю, и это действительно так, – сказал я.

Нас разделяла лампа. Она попросила сигарету. Моя сигарета догорела до фильтра. Я забыл о том, что несколько минут назад закурил. Она сказала:

– Даже не знаю, почему не могу вспомнить, где я писала эту фразу.

– По той же причине, по какой я и завтра не смогу ее вспомнить.

Она печально промолвила:

– Нет. Потому, я думаю, что и это нам снится тоже.

Я встал и направился к ней. Она стояла за лампой, я обогнул ее, держа в руке сигареты и спички. Протянул ей сигарету. Она зажала ее губами и склонилась над лампой прежде, чем я зажег спичку. Я сказал:

– Во всех городах, на всех стенах нужно писать: «Глаза голубой собаки». Если завтра я вспомню эти слова, то отправлюсь искать надпись.

Она вновь подняла голову, сигарета у нее во рту дымилась. Вздохнула.

– Глаза голубой собаки, – вспоминая, сказала она, один глаз ее был прищурен, сигарета почти лежала на подбородке. Затем, взяв сигарету двумя пальцами, она сделала затяжку:

– Это совсем другое дело. Мне теперь тепло. – Она промолвила это не своим голосом, будто не просто проговорила эту фразу, а продекламировала с листа, поднеся его к огню. – Мне теперь делается… – она сжимала лист большим и указательным пальцами, поворачивая его так, чтобы и я сумел прочесть прежде, чем он сгорит, – …тепло.

Но до того как он сгорел и опустился на пол невесомым, сморщенным пучком пепла, я сказал:

– Порой я страшусь тебя увидеть. Дрожу от холода у самого огня.

Несколько лет назад мы увидели друг друга. Порой, когда мы были уже вдвоем, кто-нибудь ронял ложку за стеной, и мы просыпались. Исподволь мы поняли, что наши отношения находятся в зависимости от самых заурядных вещей. Наши встречи и заканчивались всегда именно в то мгновение, когда утром кто-нибудь ронял ложку за стеной.

Стоя за лампой, она смотрела на меня. Я вспомнил, что именно так она смотрела на меня в том давнем сне, где я вертелся на стуле, стоявшем на задней ножке, желая постоянно быть лицом к лицу с незнакомкой с пепельно-серыми глазами. Это было во сне, когда я впервые спросил ее:

– Вы кто?

Она ответила:

– Я не помню.

Я сказал:

– Мы встречались с вами раньше, мне кажется.

Она произнесла с равнодушием в голосе:

– Может, в одном из снов я видела вас и эту комнату.

Я сказал:

– Да, теперь припоминаю.

Она сказала:

– Забавно. Потому что встречались мы в разных снах.

Она сделала подряд две затяжки. Стоя лицом к лампе, я взглянул на нее. Я вдруг разглядел ее всю, сверху донизу. Ее тело уже было не из холодной и жесткой, но из желтоватой мягкой меди. Я вновь сказал:

– Я хочу прикоснуться к тебе.

Она ответила:

– Но ты все потеряешь.

Я сказал:

– И пусть. Чтобы вновь обрести друг друга, нам нужно просто вновь уснуть. – И я протянул к ней руку.

Она не отклонилась.

– Но ты все потеряешь, – заметила она прежде, чем я ее коснулся. – И, боюсь, проснемся мы невесть где.

Но я твердил:

– И пусть.

Она сказала:

– Разумеется, мы обретем друг друга, если вновь уснем. Но ты же все забудешь, когда проснешься.

Я вернулся в угол. Она стояла за лампой, согревая руки над огнем. Не дойдя до стула, я услышал:

– Я просыпаюсь в полночь, долго верчусь в разворошенной постели и до рассвета твержу: «Глаза голубой собаки».

Я повернулся лицом к стене. Сказал, не глядя на нее:

– Скоро рассветет. Пробьет два, кончится сон, но у нас еще есть время.

Я направился к двери. Уже взявшись за ручку, услышал ее неменяющийся голос:

– Не отворяй дверь, в коридоре полно тяжелых снов.

– Почему ты так думаешь?

– Убедившись, что сплю на левом боку, на сердце, я только что вернулась оттуда.

Я немного приоткрыл дверь. Отодвинув створку, ощутил в легком прохладном ветерке запах пробуждающейся земли, полевой росы. Она вновь произнесла свои слова. Еще чуточку приоткрыв дверь, я повернулся и произнес:

– Мне кажется, тут нет коридора. Я чувствую запах росы в открытом поле.

Она ответила:

– Я лучше тебя это знаю. Тут, за дверью, спит женщина, видящая во сне поле. – Она скрестила руки над огнем: – Женщина, всю жизнь мечтавшая жить в деревне, в своем доме, которой никак не удается вырваться из города.

Я вспомнил, что в одном из давних забытых снов видел эту женщину, но знал – дверь была приоткрыта, – через тридцать минут уже наступит время завтрака. Я сказал:

– По крайней мере, чтобы проснуться, я должен уйти.

Снаружи зашумел ветер, но сразу стихло, и я услышал дыхание тревожно спящего человека. Ветер замер. И уже не пахло полем.

– Я узнаю тебя утром, когда увижу на улице женщину, которая пишет на стенах: «Глаза голубой собаки».

С улыбкой, уходящей в неизведанное и непостижимое, она проговорила:

– Нет, ты ничего не вспомнишь за весь день. – И вновь вытянула свои длинные руки над огнем, лицо ее было подернуто неизбывной печалью. – Ты единственный, проснувшись, ничего не помнишь из того, что было во сне.

Карлос Руис Сафон

из сборника

“Город из пара”

Гауди на Манхэттене

Годы спустя при виде похоронной процессии на бульваре Грасия, когда провожали в последний путь моего учителя, я вспомнил тот год, когда познакомился с Гауди и когда судьба моя изменилась бесповоротно. Той осенью я приехал в Барселону поступать в архитектурный университет. Мои мечты о покорении города архитекторов зависели от стипендии, которой едва хватало, чтобы оплачивать учёбу и снимать комнату в пансионате на улице дель Карме. В отличие от моих сокурсников, которые выглядели по-барски, моей самой приличной одеждой был отцовский чёрный костюм, который был мне на пять размеров шире и на два размера короче, чем надо. В марте 1908 года мой куратор, дон Хауме Москардо, вызвал меня к себе в кабинет, чтобы дать оценку моей успеваемости и, как я подозревал, моему неприглядному облику.

– Да вы, кажется, нищий, Миранда, – вынес он свой вердикт. – Не одежда красит человека, но архитектор – дело другое. Если у вас туго с деньгами, я могу и помочь. Профессора говорят, что вы одарённый юноша. Скажите, вы слышали о Гауди?

«Гауди». От одного упоминания этого имени меня охватывал озноб. Я вырос в мечтах о его невообразимых сводах, неоготических мостовых и футуристическом примитивизме. Именно из-за Гауди я и захотел стать архитектором, и моим самым сокровенным желанием, кроме того, чтоб не умереть от истощения во время учёбы, было постигнуть хотя бы тысячную часть той дьявольской математики, с помощью которой архитектор из Реуса придавал неповторимые черты своим творениям.

– Я большой его почитатель, – выговорил я.

– Этого я и боялся.

В тоне его послышался тот снисходительный оттенок, с которым в то время говорили о Гауди. Со всех сторон неслись нападки на то, что одни называли модернизмом, а другие – просто оскорблением хорошего вкуса. Соткалась целая доктрина из кратких тезисов, и основной смысл её заключался в том, что эти безумные барочные фасады – которые потом сформируют облик города – должны быть преданы публичному уничтожению. Гауди приобретал репутацию сумасшедшего, угрюмого и

равнодушного к женщинам, блаженного, презиравшего деньги (это был самый непростительный из его грехов), одержимого одной идеей – строительством фантасмагорического собора, в крипте которого он и проводил большую часть времени, одетый, как бродяга, погружённый в планы, бросающие вызов законам геометрии, и убеждённый, что его единственный клиент – Всевышний.

– Гауди не в своём уме, – продолжал Москардо. – Сейчас он хочет поставить статую Богоматери величиной с колосса Родосского на дом Мила[1], прямо посреди бульвара Грасия. Ну мужик! Хотя, псих он или нет, но, говоря между нами, архитектора, подобного ему, не было и не будет.

– Я считаю так же, – осмелился вставить я.

– Тогда вы понимаете, что не стоит пытаться стать его преемником.

Должно быть, почтенный профессор заметил огорчение в моих глазах.

– Но в лучшем случае вы можете стать его помощником. Один из членов семьи Льимона[2] сообщил мне, что Гауди нужен кто-то со знанием английского, только не спрашивайте, зачем. Но ему нужен переводчик испанского, потому что наш строптивец не хочет говорить ни каком языке, кроме каталанского, особенно когда его знакомят с министрами, инфантами и князьями. Я вызывался найти кандидата. Ду ю спик инглиш[3], Миранда?

Я сглотнул и взмолился к Макиавелли, святому покровителю быстрой мысли.

– Э литл[4].

– Ну тогда конгратьюлейшнс[5], и да пребудет с вами Господь.

В тот же вечер, бродя по городу после заката, я решил прогуляться по направлению к собору Святого Семейства, в крипте которого у Гауди была мастерская. В те годы район Эшампле казался неприметным с высоты бульвара Сант-Хоан. Вдали миражом виднелись поля, заводы и редкие дома, как одинокие часовые на виду Барселоны обетованной. Понемногу в сумерках вырисовались иглы апсид храма, как кинжалы, нацеленные в алое небо. Сторож поджидал меня у чёрного хода с газовым фонарём. Я последовал за ним мимо портиков и арок к каменной лестнице, что вела в мастерскую Гауди. С бьющимся сердцем я спустился в крипту. Целая стая сказочных существ затаилась в сумраке. В центре студии со свода свисали четыре

скелета, исполняя зловещий балет из репертуара анатомического театра. И среди этих зрелищных декораций я увидел невысокого седого человека, у которого были самые яркие голубые глаза, какие мне только встречались, и взгляд ясновидящего, зрящего то, о чём другие не могут даже помыслить. Он отложил тетрадь, в которой делал какие-то наброски, и улыбнулся мне. У него была детская улыбка, полная волшебства и тайны.

– Москардо, наверное, сказал вам, что я «как светоч», и что я никогда не говорю по-испански. Говорить-то я на нём говорю, но исключительно с целью спора. А вот язык, которым не владею, – английский, а в субботу я уплываю в Нью-Йорк. Вы говорите по-английски, молодой человек? – спросил он меня на каталанском.

В тот вечер я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире, беседуя с Гауди и деля с ним ужин: горсточку грецких орехов и листьев салата с оливковым маслом.

– Вы представляете, что такое небоскрёб?

За неимением собственного опыта я освежил в памяти тезисы факультетского курса: о Чикагской школе, алюминиевой арматуре и новейшем изобретении, лифте «Отис».

– Глупости, – отрезал Гауди. – Небоскрёб – не что иное, как собор для людей, которые веруют не в Бога, а в деньги.

Так, я узнал, что Гауди получил предложение от какого-то магната построить небоскрёб в самом центре Манхэттена, и что мне отводилась роль переводчика на встрече, которая должна была состояться через девять дней в гостинице «Уолдорф Астория» между Гауди и загадочным богачом. Следующие три дня я провёл, запершись у себя в пансионе, и повторял английскую грамматику, как одержимый. В пятницу на рассвете мы отправились поездом в Кале, а затем должны были пересечь пролив, чтобы в Саутгемптоне подняться на борт «Лузитании». Как только мы оказались на судне, Гауди удалился в каюту, уже томимый тоской по оставленной родине. Он вышел только вечером следующего дня: когда я его увидел, он сидел на носу корабля и наблюдал, как солнце наливается кровью на горизонте, расцвеченном сапфиром и медью. «То, что зовётся архитектурой, рождается и пара и света. Если желаете учиться – учитесь у природы» – произнёс он по-каталански. Это плавание превратилось для меня в блестящий ускоренный курс. Каждый вечер мы прогуливались по палубе и обсуждали наши планы и

мечты и просто беседовали о жизни. Не имея другой компании, а также догадываясь о наполнявшем меня религиозном восхищении, Гауди подружился со мной и показал сделанный им чертёж небоскрёба, копьё, исполненное вагнеровского духа, которое, будучи воплощённым, могло стать самым гениальным творением рук человеческих. От идей Гауди захватывало дух, но даже при этом я не мог не замечать, что в голосе его при описании проекта не слышалось ни пыла, ни интереса. Поздним вечером накануне нашего прибытия я осмелился задать ему вопрос, который терзал меня с самого момента отплытия: как это он согласился на проект, который может отнять у него месяцы, даже годы, вдали от родины, а главное, от архитектурного детища, ставшего для него смыслом жизни? «Иногда, чтобы создать божественное произведение, нужна дьявольская рука» – ответил он. Тогда я поделился предположениями, что, если он возведёт посреди Манхэттена эту вавилонскую башню, может, тогда заказчик профинансирует завершение строительства собора Святого Семейства? До сих пор я вспоминаю его слова: «Бог никогда не спешит, но моя жизнь не вечна...»

Мы прибыли в Нью-Йорк под вечер. Зловещий туман полз меж башен Манхэттена, мегаполиса, затерянного под пурпурным грозовым небом, отдающим серой. На набережной Челси нас ожидал чёрный экипаж, который повёз нас по мрачным ущельям улиц в центр острова. Извитые струйки пара там и тут поднимались от мостовой, и целый рой трамваев, экипажей и грохочущих машин бешено мчался по улицам этого города с адскими ульями, нагромождёнными над легендарными особняками. Гауди созерцал это зрелище угрюмым взглядом. Саблевидные лучи кровянистого света пронзали город, вырываясь из-под облаков, когда перед нами вытянулась Пятая Авеню и замаячил силуэт гостиницы «Уолдорф-Астория», мавзолея с мансардами и башнями, из праха которого взмоет через двадцать лет Эмпайр Стейт Билдинг. Директор отеля поприветствовал нас лично и сообщил, что магнат примет нас позднее вечером. Я переводил на ходу, Гауди только кивал. Нас провели в роскошные апартаменты на седьмом этаже, откуда был виден весь город, постепенно тонущий в сумерках. Я дал коридорному щедрые чаевые, и так узнал, что наш клиент жил в сьюте на последнем этаже и никогда не выходил из отеля. Когда я спросил, что это за человек и как он выглядит, коридорный

ответил, что никогда его не видел и очень поспешно ушёл. Когда подошло время назначенной встречи, Гауди привстал на цыпочки и бросил на меня тоскливый взгляд. В конце коридора нас ожидал лифтёр, разодетый в алую униформу. Когда мы поднимались, я заметил, что Гауди бледнеет и едва не роняет свою папку с чертежами. Мы оказались в вестибюле, отделанном мрамором, за которым тянулась длинная галерея. Лифтёр закрыл двери за нашими спинами, и свет кабины исчез в недрах здания. И тогда я заметил пламя свечи, что плыло нам навстречу по коридору. Свечу держала стройная фигура в белом. Длинные волосы обрамляли самое бледное лицо из мною виденных, на котором выделялись синие глаза, пронзающие душу. Глаза точно такие же, как у Гауди.

– Welcome to New York[6].

Нашим заказчиком была женщина. Женщина молодая, волнующе прекрасная, настолько, что красота её доставляла почти физические страдания зрителю. Викторианский хронист, наверняка, сравнил бы её с ангелом, но я не нашёл ничего ангельского в её облике. Движения у неё были кошачьи, а улыбка змеиная. Эта дама провела нас в зал, где царил полумрак и горели свечи, то и дело меркнущие в свете грозового сверкания. Мы сели. Один за другим Гауди показывал свои чертежи, в то время как я переводил его объяснения. Прошёл час, а может, вечность, дама пристально посмотрела на меня и, облизнув свои карминовые губы, намекнула мне, что теперь им с Гауди нужно остаться наедине. Я бросил косой взгляд на маэстро. Гауди бесстрастно согласился. Борясь с собою, я повиновался и отошёл в коридор, где уже открывались двери лифтовой кабины. Я на миг задержался и оглянулся, и увидел, как дама наклонилась над Гауди и, взяв его лицо своими руками с бесконечной нежностью, целовала его в губы. И как раз тогда вспышка молнии прорезала темноту, и на миг мне показалось, что это не дама рядом с Гауди, а тёмная, трупная фигура, а у ног её лежит огромный чёрный пёс. Последнее, что я видел перед тем, как захлопнулись двери лифта, были слёзы на лице Гауди, сверкающие, словно отравленный жемчуг. Вернувшись в номер, я растянулся на кровати, испытывая какую-то душевную тошноту, и провалился в глухой сон. Когда первые утренние лучи тронули моё лицо, я вскочил и бросился в номер Гауди. Постель была нетронута, и не было никаких следов присутствия маэстро. Я

спустился к стойке регистрации спросить, видел ли кто его. Носильщик ответил мне, что часом раньше видел, как он выбежал и бросился в гущу толпы, идущей вверх по Пятой Авеню, и при этом его чуть не переехал трамвай. Я не мог объяснить, почему, но я точно знал, где его искать. Я прошёл через десять кварталов к собору Святого Патрика, который в столь ранний час был пуст. С порога нефа виднелась фигура маэстро, стоящего на коленях перед алтарём. Я подошёл и присел вблизи. Мне показалось, что лицо его постарело на двадцать лет за одну ночь и приняло то отсутствующее выражение, которое будет характерно для него до конца дней. Я спросил его, кем была эта женщина. Гауди посмотрел на меня растерянно. И тогда я понял, что только я видел даму в белом, и хотя не смел предположить, что же видел сам Гауди, я был уверен, что взгляд у неизвестного был точно такой. В тот же день мы сели на корабль, чтобы отправиться обратно. Мы смотрели, как Нью-Йорк растворяется на горизонте, и тут Гауди вынул свою папку с чертежами и швырнул её за борт. В ужасе я спросил: а как же тогда деньги на завершение строительства собора Святого Семейства? А он произнёс на каталанском: «Богу спешить некуда, а я не могу заплатить ту цену, которой от меня требуют».

Тысячу раз во время морского путешествия я задавал ему вопрос, какова же эта цена и какова была личность клиента, с которым мы встречались. И тысячу раз он молча улыбался мне, отказываясь отвечать. После прибытия в Барселону потребность во мне как в переводчике отпала, но Гауди сказал, чтоб я заглядывал в гости всегда, как только захочу. Я вернулся к учебной рутине, а на факультете меня уже с нетерпением поджидал Москардо со своими расспросами.

– Мы отправились в Манчестер посмотреть на фабрику по изготовлению болтов и клёпок, Но вернулись через три дня, потому что Гауди сказал, что англичане питаются одним варёным воловьим мясом и на дух не переносят Деву Марию.

– Ну мужик...

Какое-то время спустя во время одного из моих визитов в храм я обнаружил на одном из фронтонов изображение, в точности повторяющее облик дамы в белом. Лицо её было вплетено в клубок змей и напоминало ангела с заостренными крыльями, светозарного и жестокого. Мы с Гауди никогда больше

не говорили о том, что произошло в Нью-Йорке. Это путешествие навсегда осталось нашей тайной. С годами я стал приличным архитектором и, благодаря рекомендации моего учителя, получил место в мастерской Эктора Гимара[7] в Париже. Именно там, через двадцать лет после той ночи на Манхэттене, я получил известие о смерти Гауди. Я сел на первый же поезд до Барселоны и поспел как раз к тому моменту, когда похоронная процессия несла его тело для захоронения к той самой крипте, где мы с ним познакомились. В тот же день я послал Гимару заявление об уходе. Вечером я отправился к собору Святого Семейства тем же путём, что и в день моей первой встречи с Гауди. Место строительства уже обступал город, а посреди – храм устремлялся к небу, обрызганному звёздами. Я закрыл глаза и на миг увидел его завершённым так и в таком облике, в котором лишь Гауди видел его в своём воображении. И тогда я понял, что посвящу жизнь продолжению дела моего учителя, осознавая, что рано или поздно придётся передать эстафету другим, а они, в свою очередь, сделают то же. Потому что, хотя Богу спешить некуда, но Гауди, где бы он ни был, всё-таки ждёт.

Примечания

1
Дом Мила – жилой дом, построенный в 1906–1910 годах в Барселоне архитектором Антонио Гауди для семьи Мила, одна из достопримечательностей каталонской столицы.

2
Вероятно, речь идёт о родственниках Жузепа Льимоны и Бругеры, каталонского скульптора (1864–1934). (прим. пер.)

3
Вы говорите по-английски? (искаж. англ.)

4
Немного (искаж. англ.)

5
Мои поздравления (искаж. англ.)

6
Добро пожаловать в Нью-Йорк. (англ.)

7
Эктор Гимар (1867–1942) – французский архитектор и дизайнер, представитель стиля модерн; создатель знаменитых входных павильонов парижского метро.

Милорад Павич

Тунисская белая клетка в форме пагоды

Человеческие мысли как комнаты. Бывают роскошные дворцы, а бывают и чердаки под крышей. Есть солнечные, а есть и темные. Одни смотрят на реку и небо, а другие на вентиляционный люк или подвал. А слова как вещи, они могут перемещаться из одной комнаты в другую. Наши мысли, то есть наши комнаты, составляют анфилады дворцов или казарм, а могут быть и чужим жилищем, в котором мы только снимаем угол. Иногда, особенно ночью, мы оказываемся перед закрытыми на замок дверями и не можем выйти наружу. Мы заточены в темнице, до тех пор пока сны не избавят нас и не выпустят на свободу. Но снов, как и сватов, надо еще дождаться. А пока их нет, владычествует бессонница. Говорят, есть две бессонницы, они словно две сестры. Одна приходит, когда ты не можешь заснуть, а другая, когда просыпаешься среди ночи. Первая – мать лжи, вторая мать правды.

С тех пор как я живу один, меня все чаще мучают приступы бессонницы, и я борюсь с ними с помощью тщательно разработанного метода. Все совершается мысленно, когда я лежу в кровати. И все это имеет отношение к моей профессии дизайнера по интерьерам. Сначала я выбираю в городе дом, который мне больше всего подходит. Например, такой, который поставили на овсяную солому, чтобы злая энергия не могла подняться из-под земли в комнаты. Когда я нахожу что-нибудь подобное, я начинаю каждый вечер мысленно перестраивать и обставлять этот дом. Населять его мебелью, которую сам придумал. Но я занимаюсь домом не просто для того, чтобы он лучше выглядел. Я предназначаю его определенному лицу. Исключительно определенному лицу. Это дом для Я. М.

Началось это так...

Как-то во время вечерней прогулки я остановил свое внимание на одном особняке и постарался узнать о его истории все, что было возможно. Дом находится в самом начале улицы Кралевича Марка, которая поднимается от Савской пристани к улице Зелени Венац и отклоняется в сторону, для того чтобы по ней не гулял ветер. Фасад здания украшают окна в форме креста, такие, каких больше не делают. Дом поставлен на «живой девятке», которая, в отличие от других девяток, не является

нулем. Здание известно как «дом Луки Человича». Оно построено, как утверждают справочники (Г. Гордич, Б. Вуйович), в 1903 году по чертежам инженера Милоша Савчича в стиле Нового Возрождения с элементами необарокко. Это «угловой объект делового и жилищного назначения с подвалом, тремя этажами и чердачным помещением. Главный фасад оживляют большие проемы первого этажа, где сейчас расположены магазины, и массивные тимпаны над окнами второго этажа. Здание венчает профилированный карниз с консолями и аттик с классическими чердачными окнами...» Над входом виден герб с переплетающимися буквами Л. Ч. Т. и плита, на которой написано, что здание принесено в дар Белградскому университету. Владелец этого дома, известный белградский коммерсант Лука Челович (1854–1920), был долгие годы председателем Белградской торговой палаты, что располагалась в красивейшем соседнем здании, которое выходило на площадь, называвшуюся Малый Рынок. Недалеко отсюда на углу многоэтажного дома на улице Караджорджева стоит бронзовый бюст Человича. Он смотрит на юго-запад, в сторону города Требинье, откуда Лука в 1872 году приехал в Белград, купил себе землю и построил несколько самых красивых домов на пристани. Он был одним из основателей повстанческо-четнического движения Сербии, занимался операциями на белградской бирже и делал пожертвования научным учреждениям. О нем говорили, что он отгадывает по скрипу пера, что пишут его счетоводы.

Вместо того чтобы подсчитывать количество той обуви, которую я себе когда-то купил и которая мне так и не подошла, я решил во время бессонницы переделывать и обставлять дом Луки Человича. Я знал, что он нравился Я. М., а это имело для меня решающее значение. Я. М. особенно тонко чувствовала «зоны» позитивной или любой другой энергии. Часть города между Соборной церковью и Савой она считала несомненно благоприятной зоной. Здесь, на низком берегу реки, где зима пахнет осенью, а весна – зимой, Я. М. начинала носить свое настоящее имя. А как только уходила из этой зоны, она звалась по-другому и становилась кем-то другим. Короче говоря, выбор пал на фамильный особняк Луки Человича.

Мысленно войдя в это здание, я прежде всего шепотом, как заклинание, произнес в каждой из семнадцати комнат по одному из семнадцати звуков имени Я. М.

Могу признаться, что к этому времени я проделал большие подготовительные работы особого рода. Когда я мог ежедневно наблюдать за Я. М., я видел, как движутся ее руки, ее узкие ладони, я видел, как она ходит, причесывается, держит голову, как двигает красивыми плечами и бедрами, как колышется ее грудь, когда она садится, как при этом изгибается ее тело, что делают ноги, когда она, свернувшись клубочком, сидит в кресле или когда бежит, я видел, как застывает в повороте ее голова, когда она раньше всех остальных слышит гул самолета, несущего бомбы... Потом я составил маленький «словарь движений» Я. М. За каждым движением я закрепил свой знак. Особенно трудно было придумывать знаки для неповторимых движений ее танца. Она танцевала всегда только одна, не делая исключения даже для меня, и в танце становилась еще прекрасней. В моем словаре появились знаки, подобные тем, которыми, делая пометки на своих партитурах, пользовались русские мастера балета, такие, как Нижинский. Из знаков я составил словарь, чтобы любое движение было легко отыскать. Получился своего рода каталог жестов, некая тайная азбука. Это напоминало клавиатуру компьютера, которая управляет прыжками, бегом, плаваньем или жестами действующих лиц в компьютерных играх для взрослых, которые мы с Я. М. когда-то называли «романами без слов». Чтобы вызвать эти движения, я выдумывал разные виды мебели, потому что для каждого предмета обстановки было предусмотрено одно движение Я. М. – открывание дверей, выдвигание ящика, опускание доски секретера. Имея за плечами такую подготовку, я взялся за устройство дома, который должен был в полной мере отвечать привычкам и манере двигаться Я. М. Я хотел, хотя бы мысленно, выманить у нее все разнообразие движений, поворотов, жестов, которые она совершает и когда открывает дверь, и когда поднимается по лестнице, и когда выходит из дома...

Раздумывая по ночам над моим проектом, я решил не менять фасад дома. Я только немного умыл его с помощью красок. Такой, как белый бермет, и такой, как одно шипучее итальянское вино с синеватым оттенком. Во время предыдущей бессонницы я уже изучил интерьер дома Луки Человича и теперь принял решение перестроить лестницу. Я вспоминал, как однажды в Вене, во дворце Ауэрсперг, Я. М. шла по лестнице в стиле барокко, которая на площадке верхнего этажа разделялась и шла

вниз двумя изящными маршами. Я. М. протянула руку, намереваясь коснуться роскошных металлических перил, но потом вдруг отдернула руку. Я вспоминал, как она повернулась и сошла с закругленного края последней ступеньки. В том здании, где находилась Белградская торговая палата, была подобная лестница, и я подумал, что хорошо было бы воспроизвести ее и в доме Луки Человича. Однажды вечером я мысленно разрушил два магазинчика на первом этаже по обе стороны от входа и получил место для строительства расходящейся надвое лестницы, которую сначала подвел прямо к центральному окну второго этажа, а потом опустил вниз, что было уже гораздо легче. Новая лестница была каменной, с кованой чугунной оградой и перилами из орехового дерева, для того чтобы холод металла не спугнул ее руку, как это случилось в Вене. Я лежал в кровати и во время вдоха ясно видел расходящуюся надвое лестницу, а во время выдоха она исчезала.

В витринах разрушенных мной магазинов я установил витражи с двумя сновидениями Я. М., о которых она мне рассказала. На том, что слева от входа, изображался сон про облака.

«Облака, неподвижные и густые как мох, закрывают все небо. Зеленые, как плесень! – говорит кто-то поблизости. Люди за городом, лежа навзничь на траве или откинувшись назад в своих кабриолетах, смотрят, как облака прилипают к самым высоким деревьям. В больших городах мох прирастает к верхушкам небоскребов, словно панцирем охватывая всю планету. Иногда эти массивные и мертвые ковры из небесного болота прогибаются вниз, и весь покрытый мхом свод Земли в этом месте колеблется и опускается, так что людей охватывает головокружение. Самолеты больше не летают...»

Во время очередных своих бдений я устроил в задней части дома Луки Человича бытовые помещения: две кухни, летнюю и зимнюю, и две ванные комнаты, большую и маленькую. Чердак с тремя окнами я превратил в ботанический сад. Здесь Я. М. могла завтракать и курить свои разноцветные сигареты.

Закончив грубую работу, я начал приводить в порядок внутренние помещения. Не следует думать, что если работа велась мысленно, по ночам, лежа в кровати, то я не делал обычных и необходимых в моей профессии дел. В мастерской Лунича, рядом с Калемегданом, я заказал ручки и замки для

дверей. Я всегда именно там покупаю скобяные изделия, когда занимаюсь дизайном объектов. Но в тот раз я заказывал нечто особенное. Не должно было быть даже двух одинаковых ручек. По очень простой причине. Каждая ручка предлагала длинным пальцам Я. М. какое-то свое движение. Готовые ручки я рассматривал с наслаждением. Одна была в форме птицы, и Я. М. должна была браться за нее, открывая двери зала для танцев в верхнем этаже дома, другая была в облике смычка, третья в виде китайского веера. Тут были и стеклянные яблоки, и мраморные мячи, и ручка из рогов козерога, а для дверей спальни я приготовил ручку из елового дерева, которая всегда будет пахнуть заснеженным лесом. Ручка входной двери представляла собой дамский револьверчик XVIII века. Дверь открывалась, если спускали курок. Все движения руки, необходимые, чтобы открыть все двери, составляли вместе около пятидесяти тактов танца на любимую мелодию Я. М. «Ausencia»...

Конечно, иногда я и днем ходил посмотреть на дом Луки Человича. Он был в плохом состоянии и выглядел много хуже, чем в моих фантазиях. Витрины магазинчиков на первом этаже были покрыты пылью, а в углу на ступенях главного входа сидел какой-то тип в заплатанной шляпе и курил трубку. От мундштука воняло мокрыми козьими рогами, а уши курильщика украшала засохшая пена для бритья. Все это и впрямь разочаровывало.

Но когда спускалась ночь, я с еще большим усердием обставлял каждый уголок этого дома. В скобяной мастерской Лунича я заказал пятьдесят пар отлитых из бронзы губ, мужских усатых и женских накрашенных помадой, чтобы эти металлические губы, разбросанные по стенам всех комнат и присоединенные к вентиляции, заменяли пепельницы и жадно засасывали пепел и окурки, которые Я. М. разбрасывала по всему дому. На третьем этаже я разломал все стены, и получилась просторная «музыкальная комната», вернее, танцевальный зал с тремя окнами, выходившими на бывший Малый Рынок. Здесь Я. М. могла высвобождать свою необузданную танцевальную энергию в бешеном темпе музыки «Лунный свет». Для танцев был положен новый паркет в виде лабиринта из Шартра, о котором Я. М. с удовольствием вспоминала.

Большую ванную комнату я устроил на третьем этаже со стороны двора. Дверная ручка в виде трубки для курения гашиша впускает вас в большое прямоугольное и почти пустое помещение. Потолок освещен так, будто над вами небо, наполовину затянутое облаками. Ступив на фиолетовые и бледно-черные плиты, вы замечаете в самой глубине стеклянную кровать, покрытую красным водоупорным одеялом. Нажатием кнопки, с помощью которой можно регулировать частоту и наклон струй, в ванной включается дождь. Таким образом, Я. М. может спать под теплым дождем в своей стеклянной кровати или, а это ей особенно понравится, включить музыку и под звуки «Хазарской дороги» танцевать под ливнем. Я все еще помню движения ее плеч, будто сошедших с рисунков, найденных в гробницах фараонов, на которых египтянки обязательно изображены сбоку, в профиль. Окно ванной комнаты – это хрустальная полусфера высотой в человеческий рост, в которую заходишь так, как зашли бы в уличную тумбу для афиш. В его матовом стекле видна сильно увеличенная фотография маленького сына Я. М. Он стоит и тянет через соломинку кока-колу.

В кабинете Я. М. на втором этаже я подвесил к потолку на цепях плетеное кресло, у которого вместо сиденья настоящее лошадиное седло со стременами и передней лукой, за нее Я. М. может держаться, когда, сидя на этой качалке, дает отдохнуть своей шее и спине после работы за компьютером. Одна стена целиком представляет собой монитор компьютера. Свою любимую героиню, свое alter ego, Лару Крофт, Я. М. может увидеть в полный рост. В боковые сумки седла я положил в качестве подарка ноутбук, в который загрузил все опубликованные произведения Я. М. и небольшую библиотеку ее любимых книг. На стене за стеклом покоится на бархате школьная ручка Я. М.

Большая кухня устроена таким образом, что летом через нее пролетают тени птиц, а зимой падают на пол тени снежинок. Свет поступает и из фальшивых окон, представляющих собой карты Корнуолла и Египта, которые так любит Я. М. На стене висит грубое полотенце, на нем вышита печь с горшком, а рядом две деревенские красотки. Надпись на полотенце, вышитая красной нитью, передает их слова:

– Ешь, кума, пока капуста горяча!

– Когда пошла, сыру поела, вот и не голодна!

Тунисскую белую клетку в форме пагоды я поставил в углу рядом с креслом. В клетке спит полосатая кошка, такая, например, как Константина, которую Я. М. нашла в Греции, полюбила ее и часто говорила, что Константина видит вместо своих снов мои сны. Я. М. никогда не готовила блюд, которые требовали больше времени, чем нужно для того, чтобы прослушать два раза песню «Девяностые». Но принимая во внимание стремительность Я. М., это можно приравнять к часу или полуторам часам в исполнении другой особы. Я. М., смеясь, говорила, что живет так быстро, что через пару лет станет старше меня, хотя я и гожусь ей в отцы. У нее было своеобразное правило: время, потраченное на приготовление обеда, не должно быть больше, чем время, нужное для того, чтобы его съесть.

Маленькая ванная комната имела треугольную ванну-джакузи и стеклянный шкафчик с хрустальным стаканом и бутылкой «Рамазотти». Я. М. могла бы брать их, не вставая из ванны и используя тот жест, с помощью которого она, лежа в кровати, всегда могла дотянуться до чего угодно. В центре маленькой ванной стоят средневековые женские носилки. Если поднять подушку, на кресле можно увидеть сиденье из слоновой кости, в котором есть закрытое сверху овальное отверстие. Под ним находится пустой короб из мрамора, который ведет под землю. Там, на дне короба, текут канализационные воды...

Спальня Я. М. была устроена на третьем этаже рядом с большой ванной комнатой. К ней должна была примыкать небольшая гардеробная. На Я. М. прекрасно смотрелись как женские, так и мужские костюмы и шляпы. Она с одинаковым удовольствием носила и свои и мои вещи. Ее туфли оставались новыми в течение десятилетий. Я повесил в шкаф и ее и свою одежду. Но тут моя работа остановилась...

Если не считать голубого диванчика, который я сразу поставил между двумя окнами, и странного зеркала с дырочкой в углу, я никак не мог во время своих бдений взяться за обстановку спальни. И неудивительно. Ведь это был ключевой момент. Все работы по внутреннему оформлению дома я предпринял не только ради того, чтобы усмирить свою бессонницу. У меня была и другая, более важная причина: я страстно желал вернуть Я. М. в мою жизнь. Пусть даже таким дурацким и безнадежным

способом, как мысленное повторение всего набора ее движений, начиная от прихода домой и кончая отходом ко сну. Предметы, расположенные в доме, вызывали в моем воображении фильм о движениях Я. М. Она была такой быстрой, самой быстрой из всех, кого я знал. Она умела первая увидеть, первая протянуть руку и ответить так, как будто выстрелила из рогатки. Может быть, она, такая быстрая, думал я, сумеет ощутить сконцентрированную материю своих движений в моих мечтах и ответить на них, пока еще было не поздно. Может быть, она на самом деле придет посмотреть дом у Малого Рынка, населенный во время моей бессонницы ее шагами и ее танцами.

*

Разумеется, каждое утро серые будни разрушали такие надежды. Достаточно было взглянуть на грязных птиц на небе и тающие облака. В одно такое утро на работе меня ждало сообщение о том, что какой-то клиент просит ответить на его звонок. Я не смог сделать этого сразу, и через пару дней мне снова позвонили по телефону. Мужской голос, представившись, предложил мне заняться одним жилым помещением. Я согласился, потому что оказалось, что он уже знаком с несколькими интерьерами, созданными по моим проектам в Белграде. Он назвал мне адрес, и я чуть не потерял сознание. Объект, в котором предстояло работать, был тот самый дом на улице Кралевича Марка.

– Вы, может быть, помните это здание, – добавил голос, – оно известно как «фамильный дом Луки Человича». Там не закончены кое-какие работы, в связи с этим я приглашаю вас от имени заказчика...

Не дожидаясь назначенного дня встречи с заказчиком, я в тот же миг сорвался с места и полетел на улицу Кралевича Марка. Уже издали я увидел изменения, произошедшие с домом Луки Человича. Фасад был покрашен красками цвета бермета и шипучего итальянского вина с синеватым оттенком. В витрины магазинов по обе стороны от входа были вставлены витражи. Слева был изображен пейзаж и странные облака. Это была картина на стекле. Облака, густые как мох, зеленые и неподвижные, закрывали небо. На этой стеклянной картине люди во время загородной прогулки, лежа на траве или откинувшись назад в своих кабриолетах, наблюдали, как облака оседают на самые высокие деревья...

В полной растерянности я взялся за ручку в виде дамского револьвера XVIII века и спустил курок. Замок щелкнул, и дверь передо мной открылась. Я увидел раздваивающуюся лестницу в стиле барокко и почувствовал запах мокрых козьих рогов. Меня встречал, выказывая свое удивление, курильщик трубки в заплатанной шляпе, вероятно работающий здесь привратником. Не обращая внимания на его крики, я схватился за перила из орехового дерева и со всех ног бросился наверх. Я пробежал мимо кабинета, где покачивалась качалка с седлом, и мимо кухни, напугав там кошку Константину. Меня трясло, и я бормотал себе под нос:

– Этого не может быть. Этого не может быть... – и тут меня с ног до головы облил дождь. Торопясь как можно скорее попасть в спальню, я, чтобы сократить себе дорогу, пробежал через большую ванную комнату, где еще не кончился дождь, потому что кто-то только что закончил купание. Совершенно мокрый, я остановился в дверях той комнаты, которую не успел обставить во время своей бессонницы. В дверях спальни. Здесь почти не было мебели. Только в глубине между двумя окнами стоял голубой диванчик.

Я. М. сидела на нем, поджав под себя ноги. Со своими черными прядками, с коротко подстриженным затылком, с сережками в виде золотых сигареток. С этой своей улыбкой, которая старше, чем она сама. Как всегда и бывало, я почувствовал под черным платьем и блестящими чулками сгусток ее тела. И быстроту в неподвижном теле самки. Я встал как громом пораженный и сказал:

– Скажи мне, что это неправда!

– Почему же неправда, если ты мокрый как мышь?

– Но тогда что же это? – спросил я глупо.

Я. М. рассмеялась.

– Ты бы хотел получить какое-нибудь объяснение всему этому, да? Но к чему объяснения, если мы снова вместе? Разве любви нужны объяснения? Однако, если тебе так хочется все узнать, я скажу. Здесь все неправда. Начиная с дверной ручки на входной двери и кончая стеклянным потолком, ничего в действительности не существует. Все здесь поддельная бесконечность и сиюминутная вечность.

– А ты? – спросил я срывающимся голосом.

– И я тоже, конечно, не существую.

– Я тебе не верю, – сказал я и сделал шаг в ее сторону. Вдохнуть аромат женщины все равно что услышать ее мысли. Я почувствовал, как пахнут ее волосы, но она не шевельнулась. И сказала:

– Это не важно, веришь ты или нет, потому что ты тоже не существуешь.

– Я тоже?

– Ты тоже. Все это компьютерная игра, и нас сюда загрузила настоящая Я. М.

Виктор Пелевин

Проблема верволка в средней полосе

На какую-то секунду Саше показалось, что уж этот-то мятый «ЗиЛ» остановится – такая это была старая, дребезжащая, созревшая для автомобильного кладбища машина, что по тому же закону, по которому в стариках и старухах, бывших раньше людьми грубыми и неотзывчивыми, перед смертью просыпаются внимание и услужливость, – по тому же закону, только отнесенному к миру автомобилей, она должна была остановиться. Но ничего подобного – с пьяной старческой наглостью звякая подвешенным у бензобака ведром, «ЗиЛ» протарахтел мимо, напряженно въехал на пригорок, издал на его вершине непристойный победный звук, сопровождаемый струей сизого дыма, и уже беззвучно скрылся за асфальтовым перекатом.

Саша сошел с дороги, бросил в траву свой маленький рюкзак и уселся на него – завершая движение, он почувствовал снизу что-то твердое, вспомнил о плавленых сырках, лежащих под верхним клапаном рюкзака, и испытал мстительное удовлетворение, обычное для попавшего в передрягу человека, когда он узнает, что кто-то или что-то рядом – тоже в тяжелых обстоятельствах. Саша как раз и собирался обдумать, насколько тяжелы его сегодняшние обстоятельства.

Существовало только два способа дальнейших действий – либо по-прежнему ждать попутку, либо возвращаться в деревню в трех километрах позади. Насчет попутки вопрос был почти ясным – есть, видимо, такие районы страны или такие отдельные дороги, где в силу принадлежности абсолютно всех едущих мимо водителей к некоему тайному братству негодяев не только невозможно практиковать автостоп – наоборот, нужно следить, чтобы тебя не обдали грязной водой из лужи, когда идешь по обочине. Дорога от Конькова к ближайшему оазису при железной дороге – еще километров пятнадцать, если идти прямо – была как раз одним из таких заколдованных маршрутов. Из пяти проехавших мимо за последние сорок минут машин не остановилась ни одна, и если бы какая-то стареющая женщина с фиолетовыми от помады губами и прической типа «I still love you» не показала ему кукиш, длинно высунув руку в окно красной «Нивы», Саша мог бы решить, что стал невидим. После этого

оставалась еще надежда на какого-то приблизительного шофера грузовика, который всю дорогу молча будет вглядываться в дорогу впереди через пыльное стекло, а потом коротким движением головы откажется от Сашиной пятерки (и вдруг бросится в глаза висящая над рулем фотография нескольких парней в десантной форме на фоне далеких гор), – но когда единственный за последние полчаса «ЗиЛ» проехал мимо, и эта надежда умерла. Автостоп отпал.

Саша поглядел на часы – было двадцать минут десятого. Скоро стемнеет, подумал он, надо же, попал… Он посмотрел по сторонам: с обеих сторон за сотней метров пересеченной местности – микроскопические холмики, редкие кусты и слишком высокая и сочная трава, заставляющая думать, что под ней болото, – начинался жидкий лес, какой-то нездоровый, как потомство алкоголика. Вообще, растительность вокруг была странной: все чуть покрупнее цветов и травы росло с натугой и надрывом и хоть достигало в конце концов нормальных размеров – как, например, цепь берез, с которой начинался лес, – но оставалось такое впечатление, будто все это выросло, испугавшись чьих-то окриков, а не будь их – так и стлалось бы лишайником по земле. Какие-то неприятные были места, тяжелые и безлюдные, словно подготовленные к сносу с лица земли – хотя, подумал Саша, так нельзя сказать, потому что если у земли и есть лицо, то явно в другом месте. Недаром из трех встреченных сегодня деревень только одна была более-менее правдоподобной – как раз последняя, Коньково, а остальные были заброшены, и только в нескольких их домиках кто-то еще доживал свой век, покинутые избы больше напоминали экспозицию этнографического музея, чем бывшие человеческие жилища.

Впрочем, Коньково, имевшее какую-то связь с придорожной надписью «Колхоз „Мичуринский“» и гипсовым часовым у шоссе, казалось нормальным поселением людей только в сравнении с глухим запустением соседних, уже безымянных, деревень. Хоть в Конькове и работал магазин, хлопала по ветру клубная афиша с выведенным зеленой гуашью названием французского авангардного фильма, и верещал где-то за домами трактор, все равно было чуть не по себе. Людей на улицах не было – только прошла бабка в черном, мелко перекрестившаяся при виде Сашиной гавайской рубахи, покрытой разноцветными

фрейдистскими символами, да проехал на велосипеде очкастый мальчик с авоськой на руле – велосипед был ему велик, он не мог сидеть в седле и ехал стоя, как будто бежал над ржавой тяжелой рамой. Остальные жители, если они были, сидели по домам.

В воображении поездка представлялась совсем другой. Вот он ссаживается с речного плоскодонного теплоходика, доходит до деревни, где на завалинках – Саша не знал, что такое завалинка, и представлял ее себе в виде удобной деревянной скамейки вдоль бревенчатой стены – сидят мирно выживающие из ума старухи, кругом растет подсолнух, и под его желтыми блюдцами тихо играют в шахматы на дощатых серых столах бритые старики. Словом, представлялся какой-то бесконечный Тверской бульвар. Ну, еще промычит корова…

Дальше – вот он выходит на околицу, и открывается прогретый солнцем сосновый лес, река с плывущей лодкой или разрезанное дорогой поле – и куда ни пойди, всюду будет замечательно: можно развести костер, можно даже вспомнить детство и полазить по деревьям. Вечером, на попутных машинах – к электричке.

А что вышло? Сначала – пугающая пустота заброшенных деревень, потом такая же пугающая обжитость обитаемой. В итоге ко всему тому, чему нельзя было верить, добавилась еще одна вещь – цветная фотография из толстой ободранной книги с подписью, где упоминалась «старинная русская деревня Коньково, ныне – главная усадьба колхоза-миллионера». Саша нашел место, откуда был сделан понравившийся ему снимок, и удивился, до чего разным может быть на фотографии и в жизни один и тот же вид.

Мысленно дав себе слово никогда больше не поддаваться порывам к бессмысленным путешествиям, Саша решил хотя бы посмотреть этот фильм в клубе – в Москве он уже не шел. Купив у невидимой кассирши билет, – говорить пришлось с веснушчатой пухлой рукой в окошке, которая оторвала билет и отсчитала сдачу, – он попал в полупустой зал, отскучал в нем полтора часа, иногда оборачиваясь на прямого, как шпала, пенсионера, свистевшего в некоторых местах (его критерии были совершенно не ясны, но зато в свисте было что-то залихватски-разбойничье и одновременно грустное, что-то от уходящей Руси), потом – когда фильм кончился – поглядел на удаляющуюся от

клуба прямую спину свистуна, на фонарь под жестяным конусом, на одинаковые заборчики вокруг домов и пошел прочь из Конькова, косясь на простершего руку и поднявшего ногу гипсового человека в кепке, обреченного вечно брести к брату по бытию, ждущему его у шоссе.

Теперь было пройдено уже три километра, в дорогу успела втечь другая – и за все время ни одна из проехавших мимо машин даже не притормозила. А они шли все реже – последнего грузовика, который своим сизым выхлопом окончательно развеял иллюзии, Саша дожидался так долго, что успел забыть о том, чего он ждет.

– Пойду назад, – вслух сказал он, обращаясь к ползущему по его кеду не то паучку, не то муравью, – а то будем тут вместе ночевать.

Паучок оказался толковым насекомым и быстро слез назад в траву. Саша встал, закинул за спину рюкзак и пошел назад, придумывая, где и как он устроится ночевать. Стучаться к какой-нибудь бабке не хотелось, да и было бесполезно, потому что пускающие переночевать бабки живут обычно в тех местах, где соловьи-разбойники и кащеи, а здесь был колхоз «Мичуринский» – понятие, если вдуматься, не менее волшебное, но волшебное по-другому, без всякой надежды на ночлег в незнакомом доме. Единственным подходящим вариантом, до которого сумел додуматься Саша, был следующий: он покупает билет на последний сеанс в клуб, а после сеанса, спрятавшись за тяжелой зеленой портьерой в зале, остается. Можно было вполне прилично переночевать на зрительских сиденьях – подлокотников у них не было. Чтобы все вышло, надо будет встать с места, пока не включат свет, и спрятаться за портьерой – тогда его не заметит баба в самодельной синей униформе, сопровождающая зрителей к выходу. Правда, придется еще раз смотреть этот темный фильм – но тут уж ничего не поделаешь.

Думая обо всем этом, Саша вышел к развилке. Когда он проходил здесь минут двадцать назад, ему показалось, что к дороге, по которой он идет, пристроилась другая, поменьше, – а сейчас он стоял на распутье, не понимая, по какой из дорог он сюда пришел: обе казались совершенно одинаковыми. Он попытался вспомнить, с какой стороны появилась вторая дорога, и закрыл на несколько секунд глаза. Вроде бы справа – там еще

росло большое дерево. Ага, вот оно. Значит, идти надо по правой дороге. Перед деревом, кажется, стоял такой серый столб. Где он? Вот он, только почему-то слева. А рядом маленькое деревце. Ничего не понятно.

Саша поглядел на столб, когда-то поддерживавший провода, а сейчас похожий на грозящие небу огромные грабли, подумал еще чуть-чуть и повернул влево. Пройдя двадцать шагов, он остановился и поглядел назад – вдруг с поперечной перекладины столба, отчетливо видной на фоне красных полос заката, взлетела птица, которую он до этого принял за облепленный многолетней грязью изолятор. Саша пошел дальше – чтобы успеть в Коньково вовремя, надо было спешить, а идти предстояло через лес.

Удивительно, думал Саша, какая ненаблюдательность. По дороге из Конькова он даже не заметил этой широкой просеки, за которой виднелась поляна. Когда человек поглощен своими мыслями, мир вокруг исчезает. Наверно, он и сейчас бы ее не заметил, если бы его не окликнули.

– Эй, – закричал пьяный голос, – ты кто?

И еще несколько голосов заржали. Среди первых деревьев леса, как раз возле просеки, мелькнули люди и бутылки – Саша не позволил себе обернуться и увидел местную молодежь только краем глаза. Он прибавил шаг, уверенный, что за ним не погонятся, но все-таки неприятно взволнованный.

– У, волчище! – прокричали сзади.

»Может, я не по той дороге иду?» – подумал Саша, когда дорога сделала зигзаг, которого он не помнил. Нет, вроде по той: вот длинная трещина на асфальте, напоминающая латинскую дубль-вэ, – что-то похожее уже было.

Постепенно темнело, а идти было еще порядочно. Чтобы чем-то себя занять, Саша стал обдумывать способы проникновения в клуб после начала сеанса, начиная от озабоченного возвращения за забытой на сиденье кепкой («знаете, такая красная, с длинным козырьком,» – в честь любимой книги) и кончая спуском вниз через широкую трубу на крыше, если она, конечно, есть.

То, что он выбрал не ту дорогу, выяснилось через полчаса ходьбы, когда все вокруг уже было синим и на небе прорезались первые звезды. Ясно это стало, когда у дороги появилась

высокая стальная мачта, поддерживающая три толстых провода, и послышался тихий электрический треск: по дороге от Конькова таких мачт не было точно. Уже все поняв, Саша по инерции дошел до мачты и в упор уставился на жестяную табличку с любовно прорисованным черепом и угрожающей надписью. Потом оглянулся и поразился: неужели он только что прошел через этот черный и страшный лес? Идти назад, чтобы повернуть в нужном направлении, означало снова встретиться с ребятами, сидящими у дороги, – узнать, в какое состояние они пришли под действием портвейна и сумрака, было, конечно, интересно, но не настолько, чтобы рисковать из-за этого жизнью. Идти вперед значило идти неизвестно куда, но все-таки: если идет дорога по лесу, должна же она куда-то вести? Саша задумался.

Гудение проводов над головой напоминало, что где-то на свете живут нормальные люди, вырабатывают днем электричество, а вечером смотрят с его помощью телевизор. Если уж ночевать в глухом лесу, думал Саша, то лучше всего под электрической мачтой – тогда это будет чем-то похоже на ночлег в парадном, а это вещь испытанная и совершенно безопасная.

Вдруг донесся какой-то полный вековой тоски рев – сначала он был еле слышен, а потом вырос до невообразимых пределов, и только тогда Саша понял, что это самолет. Он облегченно поднял голову, и скоро вверху появились разноцветные точки, собранные в треугольник, пока самолет был виден, стоять на темной лесной дороге было даже уютно, а когда он скрылся, Саша уже знал, что пойдет вперед. (Он вдруг вспомнил, как очень давно – может, лет десять-пятнадцать назад, – он так же поднимал голову и глядел на ночные бортовые огни, а потом, став старше, иногда воображал себя парашютистом, сброшенным с только что пролетевшего сквозь летнюю ночь самолета, и эта мысль сильно помогала.) Он пошел вперед по дороге, глядя прямо перед собой на выщербленный асфальт, постепенно становящийся самой светлой частью окружающего.

На дорогу падал слабый, неопределенной природы, свет – и можно было идти не боясь споткнуться. Отчего-то – наверно, по городской привычке, – у Саши существовала уверенность, что дорога освещена редкими фонарями. Когда он попытался найти такой фонарь, он опомнился – никаких фонарей, конечно, не было вокруг: светила луна, и Саша, задрав голову, увидел ее четкий белый серп. Поглядев немного на небо, он с удивлением

отметил, что звезды разноцветные – раньше он никогда этого не замечал или просто давно про это забыл.

Наконец стемнело полностью и окончательно – то есть стало ясно, что темнее уже не будет. Стальная мачта осталась далеко позади, и теперь о существовании людей свидетельствовал только асфальт под ногами. Когда стало прохладно, Саша вынул из рюкзака куртку, одел ее и застегнул на все молнии: так он чувствовал себя в большей готовности ко всяким ночным неожиданностям. Заодно он съел два мятых плавленых сырка «Дружба» – фольга с этим словом, слабо блеснувшая в лунном свете, почему-то напомнила о вымпелах, которые человечество родины постоянно запускает в космос.

Несколько раз до Саши доносилось далекое гудение автомобильных моторов. Прошел примерно час с тех пор, как он миновал мачту. Машины, шум которых он слышал, проезжали где-то далеко – наверно, по другим дорогам. Та дорога, по которой он шел, пока не обрадовала его ничем особенным – один раз, правда, она вышла из леса, сделала метров пятьсот по полю, но сразу же нырнула в другой лес, где деревья были старше и выше, – и сузилась: теперь идти было темнее, потому что полоса неба над головой тоже стала уже. Саше начинало казаться, что он погружается все глубже и глубже в какую-то пропасть, и дорога, по которой он идет, не выведет его никуда, а наоборот, заведет в глухую чащу и кончится в царстве зла, посреди огромных живых дубов, шевелящих рукообразными ветвями, – как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро, что становится жалко поверженных бабу-ягу и кащея, жалко за неспособность найти место в жизни и постоянно выдающую их интеллигентность.

Впереди опять возник шум мотора – теперь он был ближе, и Саша подумал, что навстречу наконец выедет машина и подбросит его куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам – стены и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, а потом вдруг стихло – машина остановилась. Саша почти побежал вперед, дожидаясь, когда она опять тронется ему навстречу, – но когда он опять услышал гудение мотора, оно донеслось издалека – как будто машина, приближавшаяся к нему, вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и теперь повторяла уже пройденный путь.

Саша наконец понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. Правда, непонятно было, куда делась первая, но это было неважно – лишь бы какая-нибудь все-таки появилась из тьмы. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука – когда вторая машина тоже остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь сто метров, света фар не было видно, но это легко объяснялось тем, что впереди был поворот.

Вдруг Саша задумался. Происходящее за поворотом дороги было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса. Саша вспомнил, что и раньше, когда он слышал отдаленный гул моторов, этот гул некоторое время приближался, нарастал, а потом обрывался. Но сейчас это показалось очень странным: две машины одна за другой остановились или были остановлены – как будто ухнули в какую-то глубокую яму посреди дороги.

Ночь подсказывала такие объяснения происходящему, что Саша на всякий случай подошел к обочине, чтобы можно было быстрей нырнуть в лес, если потребуют обстоятельства, и крадущейся походкой двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Как только он изменил способ своего перемещения – а до этого он шел по самой середине дороги, громко шаркая китайской резиной об остатки асфальта, – так сразу же исчезла большая часть страха, и он подумал, что если и не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом.

Когда до поворота оставалось уже чуть-чуть, Саша увидел на листьях слабый красноватый отблеск, и одновременно до него донеслись голоса и смех. Потом еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом – на этот раз он услышал даже хлопанье дверей. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного. Или как раз наоборот, подумал он вдруг.

После такой мысли показалось, что в лесу будет безопасней, чем на дороге. Саша вошел в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, осторожно выглянул – и чуть не

засмеялся, настолько обычность открывшейся картины не соответствовала напряжению его страха.

Впереди была большая поляна, с одной ее стороны в беспорядке стояло штук шесть машин – «волги», «лады» и даже одна иностранная, – а освещалось все огромным костром в центре поляны, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались, смеялись и вели себя именно так, как любая большая компания вокруг ночного костра, – им не хватало только магнитофона с севшими батарейками, натужно борющегося с тишиной.

Словно услыхав Сашину мысль, один из стоявших у костра отошел к машине, открыл дверь, сунул внутрь руку, и заиграла довольно громкая музыка, правда, неподходящая для пикника: будто выли в отдалении хриплые мрачные трубы и гудел ветер между голых осенних стволов.

Однако компания у костра не выразила недоумения таким выбором – наоборот, когда включивший музыку вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись получше, Саша стал замечать в происходящем некоторые странности – причем странности, как бы подчеркнутые несуразностью музыки.

У костра была пара детей – вполне нормальных. Были ребята Сашиного возраста. Были девушки. Но вот чуть сбоку от высокого пня почему-то стоял пожилой милиционер, а говорил с ним – мужчина в пиджаке и галстуке. У костра в одиночестве стоял военный – кажется, полковник, его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. И еще несколько человек были в костюмах с галстуками – будто приехали не в лес, а на работу.

Саша вжался в свое дерево, потому что к краю поляны, возле которого он стоял, подошел человек в просторной черной куртке, с ремешком, перехватывающим волосы на лбу. Еще одно лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, повернулось в Сашину сторону… Нет, никто не заметил.

«Непонятно, – подумал Саша, – кто это такие?» Потом пришло в голову, что все это можно довольно просто объяснить: сидели, наверно, на каком-нибудь приеме, а потом рванули в лес… Милиционер – для охраны… Но откуда тогда дети? И почему такая музыка?

– Эй, – сказал сзади тихий голос.

Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел перед собой девочку в спортивном, кажется зеленом, костюме с нежной адидасовской лилией на груди.

– Ты чего тут делаешь? – так же тихо спросила она.

Саша с некоторым усилием разлепил рот.

– Я… так просто, – ответил он.

– Что – так просто?

– Ну, шел по дороге, пришел сюда.

– То есть как? – переспросила девочка почти с ужасом, – ты что, не с нами приехал?

– Нет.

Девочка сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть в сторону, но все-таки осталась на месте.

– Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел? – спросила она, немного успокоясь.

– Непонятно, что тут такого, – сказал Саша. Ему начинало приходить в голову, что она над ним издевается, но девочка вдруг перевела взгляд на его кеды и помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что Саша отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту девочка молча соображала, потом спросила:

– А как ты теперь выкручиваться хочешь?

Саша решил, что она имеет в виду его положение одинокого ночного пешехода, и ответил:

– Как? Попрошу, чтоб довезли меня хоть до какой-нибудь станции. Вы когда возвращаетесь?

Девочка промолчала. Саша повторил вопрос, и она сделала непонятный спиральный жест ладонью.

– Или дальше пойду, – вдруг сказал Саша.

Девочка посмотрела на него с сомнением и сожалением.

– Как тебя звали-то? – спросила она.

«Почему – звали?» – удивился Саша и хотел поправить ее, но вместо этого ответил, как когда-то в детстве отвечал милиционерам:

– Саша Лапин.

Девочка хмыкнула. Подумав, она слегка толкнула его пальцем в грудь.

– Есть в тебе что-то располагающее, Саша Лапин, – сообщила она, – поэтому я тебе вот что скажу: бежать отсюда

даже не пробуй. Правда. А лучше выйди из леса минут так через пять и иди к костру, посмелее. Тебя, значит, спросят – кто ты такой и что здесь делаешь. А ты отвечай, что зов услышал. И, главное, с полной уверенностью. Понял?

– Какой зов?

– Какой, какой. Такой. Мое дело тебе совет дать.

Девочка еще раз оглядела Сашу, потом обошла его и двинулась на поляну. Когда она подошла к костру, какой-то мужчина в костюме потрепал ее по голове и дал ей бутерброд.

«Издевается», – подумал Саша. Потом увидел человека в черной куртке, глядящего в тьму на краю поляны, и решил, что не издевается: как-то странно он вглядывался в ночь, этот человек, совсем не так, как положено это делать. А в центре поляны Саша вдруг заметил воткнутый в землю деревянный шест с насаженным на него черепом – узким и длинным, с мощными челюстями.

После некоторого колебания Саша решился, вышел из-за дерева и пошел к желто-красному пятну костра. Шел он покачиваясь – и не понимал почему, а глаза его были прикованы к огню.

Когда он появился на поляне, разговоры на ней как-то сразу смолкли. Все обернулись и теперь глядели на него, сомнамбулически пересекающего пустое пространство между кромкой леса и костром.

– Стой, – хрипло сказал кто-то.

Саша шел вперед не останавливаясь – к нему подбежали, и несколько сильных мужских рук схватило его.

– Ты что здесь делаешь? – спросил тот же голос, который скомандовал ему остановиться.

– Зов услышал, – мрачно и грубо ответил Саша, глядя в землю.

– А, зов… – раздались голоса. Сашу сразу же отпустили, вокруг засмеялись, и кто-то сказал:

– Новенький.

Саше протянули бутерброд с сыром и стаканчик «тархуна», после чего он оказался немедленно забыт – все вернулись к своим прерванным разговорам. Саша подошел поближе к костру и вдруг вспомнил о своем рюкзаке, оставшемся за деревом. «Черт с ним», – подумал он и занялся бутербродом.

Сбоку подошла девочка в спортивном костюме.

– Я – Лена, – сказала она. – Молодец. Все как надо сделал.

Саша огляделся.

– Слушай, – сказал он, – что здесь происходит-то? Пикник?

Лена нагнулась, подняла обломок толстой ветки и бросила его в костер.

– Погоди, узнаешь, – сказала она. Потом помахала ему мизинчиком – какой-то совершенно китайский получился жест – и отошла к маленькой группе людей, стоявших возле пня.

Кто-то сзади дернул Сашу за рукав куртки. Он обернулся и вздрогнул: перед ним стоял декан факультета, на котором он учился, крупный специалист в области чего-то такого, что должно было начаться только на следующем курсе, но уже и на этом вызывало у Саши чувства, похожие на первые спазмы надвигающейся тошноты. Саша в первый момент обомлел, а потом сказал себе, что в такой встрече нет ничего сверхъестественного: декан ведь только на работе декан, а вечером и ночью – человек и может ездить куда угодно. Вот только Саша не мог вспомнить, как его звали по отчеству.

– Слышь, новенький, – сказал декан (он явно не узнавал Сашу), – заполни-ка.

В Сашину руку легли разграфленный лист бумаги и ручка. Костер освещал скуластое лицо профессора и надписи на протянутом им листке: это оказалась обычная анкета. Саша присел на корточки и на колене, кое-как, стал вписывать ответы – где родился, когда, зачем и так далее. Было, конечно, странно заполнять анкету посреди ночного леса, но то, что над головой стояло дневное начальство, каким-то образом уравновешивало ситуацию. Декан ждал, иногда нюхая воздух и заглядывая Саше через плечо. Когда последняя строчка была дописана, декан вырвал у него ручку и листок, оскаленно улыбнулся и, подпрыгивая от нетерпения, побежал к своей машине, на капоте которой лежала открытая папка.

Поднявшись, Саша заметил, что за то время, пока он заполнял анкету, в поведении собравшихся у костра произошла заметная перемена. Раньше они напоминали, если не считать некоторых мелких несообразностей, обычных туристов. Сейчас было по-другому. Разговоры по-прежнему продолжались, но голоса стали какими-то лающими, а движения и жесты говорящих – плавными и ловкими. Один мужик в костюме отошел от костра и с профессиональной легкостью кувыркался в траве, отбрасывая

движениями головы выбившийся из-под пиджака галстук, другой замер, как журавль, на одной ноге и молитвенно глядел вверх на луну, а милиционер, видный сквозь языки огня, стоял на четвереньках у края поляны и, как перископом, водил головой. Саша сам стал чувствовать звон в ушах и сухость во рту. Все это находилось в несомненной, хоть и неясной связи с несущейся из машины музыкой: ее темп убыстрялся, и трубы хрипели все тревожней, будто предвещая приближение какой-то новой и необычной темы. Постепенно музыка ускорилась до невозможности, а воздух вокруг стал густым и горячим – Саша подумал, что еще одна такая минута, и он умрет. Вдруг трубы смолкли на резкой ноте, и разнесся воющий удар гонга.

– Эликсир, – заговорили вокруг, – быстрее эликсир! Пора.

Саша увидел худую старую женщину в жакете и красных бусах, несущую от одной из машин баночку, накрытую бумажкой, – в таких на рынке продают сметану. Вдруг в стороне произошло легкое смятение.

– Вот это да, – восхищенно сказал кто-то рядом, – без эликсира…

Саша поглядел туда, где раздались голоса, – и увидел следующее: одна из девушек – та, что говорила раньше с человеком в черной куртке, – теперь стояла на коленях и выглядела более чем странно: ее ноги как-то уменьшились, а руки, наоборот, вытянулись – и так же вытянулось лицо, превратившееся в неправдоподобную, страшную до хохота получеловеческую-полуволчью морду.

– Великолепно, – сказал полковник и обернулся к остальным, делая жест, приглашающий всех полюбоваться жутким зрелищем, – слов нет! Великолепно! А еще нашу молодежь ругают!

Женщина к красных бусах подошла к волкоподобной девушке, сунула палец в баночку и уронила несколько капель в подставленную снизу пасть. По телу девушки прошла волна, еще одна, потом эти волны убыстрились и перешли в крупную дрожь. Через минуту на поляне между людьми стояла молодая крупная волчица.

– Это Таня из Ин-яза, – сказал кто-то Саше в ухо, – она очень способная.

Разговоры стихли, как-то естественно все выстроились в неровную шеренгу, и женщина с полковником пошли вдоль нее,

давая всем по очереди отхлебнуть по крошечному глотку из банки. Саша, совершенно одуревший от увиденного и ничего не соображающий, оказался примерно в середине этой шеренги, а рядом с ним опять появилась Лена. Она повернула к нему лицо и широко улыбнулась.

Вдруг Саша увидел, что женщина в бусах – она, кстати, отличалась от других тем, что вела себя совершенно обыденно, по-дачному, без всяких странностей в движениях и необычного блеска в глазах, – стоит напротив него и протягивает к его лицу руку с банкой. Саша почувствовал странный и какой-то знакомый запах – так пахнут какие-то растения, если растереть их на ладони. Он отшатнулся, но рука уже настигла его и ткнула ему в губы край банки. Саша сделал маленький глоток и одновременно почувствовал, что кто-то держит его сзади. Женщина шагнула дальше.

Саша открыл глаза. Пока он держал жидкость во рту, вкус казался даже приятным, но когда он проглотил ее, его чуть не вырвало.

Резкий растительный запах усилился и заполнил Сашину пустую голову – как будто она была воздушным шариком, в который кто-то вдувал струю газа. Этот шарик вырос, раздулся, его тянуло вверх все сильнее, и вдруг он порвал тонкую нить, связывавшую его с землей, и понесся вверх – далеко внизу остались лес, поляна с костром и люди на ней, а навстречу полетели редкие облака, а потом звезды. Скоро внизу уже ничего не стало видно. Саша стал глядеть вверх и увидел, что приближается к небу – как выяснилось, небо представляло из себя вогнутую каменную сферу с торчащими из нее блестящими металлическими остриями, которые и казались снизу звездами. Одно из таких сверкающих лезвий неслось прямо на Сашу, и он никак не мог предотвратить встречу – наоборот, летел ввысь все быстрей и быстрей. Наконец он напоролся на него и лопнул с громким треском. Теперь от него осталась одна стянувшаяся оболочка, которая, покачиваясь в воздухе, стала медленно спускаться вниз.

Падал он долго, целое тысячелетие, и, наконец, достиг земли. Почувствовать под собой твердую поверхность было настолько приятно, что от наслаждения и благодарности Саша широко махнул хвостом, поднял морду и тихонько провыл. Потом встал с брюха на лапы и огляделся.

Рядом с ним стояла худенькая юная волчица и глядела вверх, на небо, откуда он только что свалился. Саша сразу узнал Лену – а как, было неясно. Те чисто человеческие особенности, которые он в ней отметил раньше, теперь, разумеется, исчезли. Зато на их место пришли такие же особенности, но волчьи. Саше было очень странно – он никогда не подумал бы, что выражение волчьей морды может быть одновременно насмешливым и мечтательным, если бы не увидел этого собственными глазами. Лена заметила, что он смотрит на нее, и спросила:

– Ну как тебе?

То есть не спросила. Она тонко и тихо взвизгнула или проскулила – это никак не было похоже на человеческий язык, но Саша сразу же уловил не только смысл вопроса, но и некоторую нарочитую развязность, которую Лена ухитрилась придать своему вою.

– Здорово, – хотел он ответить, а вместо этого издал короткий лающий звук. Но этот звук и был тем, что он собирался сказать. Лена улеглась на траву и положила морду между лапами.

– Отдохни, – провыла она, – сейчас будем долго бежать.

Саша не хотел отдыхать. Он чувствовал себя переполненным силой – хотелось что-то сделать, подпрыгнуть или разорвать кого-нибудь в клочья. Он поглядел по сторонам – метрах в трех справа по траве катался милиционер, на глазах обрастая шерстью прямо поверх кителя, из штанов у него быстро, как травинка в учебном фильме по биологии, рос толстый плешивый хвост.

На поляне теперь стояла волчья стая – и только женщина в бусах, разносившая эликсир, оставалась человеком. Она с некоторой, как показалось Саше, опаской обошла двух матерых волков – одного из них Саша узнал: это был полковник – и залезла в машину.

Саша повернулся к Лене.

– А она что, – спросил он, – не из наших?

– Нет, – ответила Лена, – она нам помогает. Сама она коброй перекидывается.

– А сейчас она будет?

– Сейчас для нее холодно. Она в Среднюю Азию ездит.

– А.

Волки прохаживались по поляне, подходили друг к другу и тихо перелаивались. Саша сел на задние лапы и постарался ощутить все стороны своего нового качества. Во-первых, он различал тысячи пронизывающих воздух запахов. Это было похоже на второе зрение – например, Саша сразу же почувствовал свой рюкзак, стоящий за довольно далеким деревом, почувствовал сидящую в машине женщину, след недавно пробежавшего по краю поляны суслика, солидный мужественный запах пожилых волков и нежную волну запаха Лены – это был, наверно, самый свежий и чистый оттенок всего невообразимо широкого спектра запахов псины.

Во-вторых, похожее изменение произошло со звуками: теперь они были гораздо осмысленней и их количество удвоилось: можно было выделить скрип ветки под ветром в ста метрах от поляны, потом – стрекотание сверчка где-то совсем в другой стороне и следить за колебаниями этих звуков одновременно, без всякого раздвоения.

В-третьих, главная метаморфоза, которую отметил Саша, касалась самоосознания. На человеческом языке это было очень трудно выразить, и Саша стал лаять, визжать и скулить про себя – так же, как раньше думал словами. Изменение в самоосознании касалось смысла жизни. Люди, отметил Саша, способны только говорить, а вот ощутить смысл жизни так же, как ветер или холод, они не могут. А у Саши такая возможность появилась, и смысл жизни чувствовался непрерывно и отчетливо, как некоторое вечное свойство мира, наглухо скрытое от человека, – и в этом было главное очарование нынешнего состояния Саши. Как только он понял это, он понял и то, что вряд ли по своей воле вернется в свое прошлое естество – жизнь без этого чувства казалась длинным болезненным сном, неинтересным и мутным, какие снятся при гриппе.

– Готовы? – пролаял из центра поляны бывший полковник.

– Да! Готовы! – взвыл вокруг десяток глоток.

– Сейчас… Пару минут, – прохрипел кто-то сзади, – перекинуться не могу.

Саша попытался повернуть морду так, чтобы взглянуть назад, но это ему не удалось. Оказалось, что шея плохо гнется – надо было поворачиваться всем телом, а это было неудобно. Сбоку подошла Лена и ткнула холодным носом в Сашин бок.

Очевидно, она догадалась о его неудобстве, потому что тихонько проскулила ему в ухо:

– Ты не вертись, а глаза скашивай. Гляди.

Она показала. Саша попробовал – и действительно, поворачивать глаза было очень удобно. Это опять было невообразимой для человека способностью.

– Куда побежим-то? – озабоченно спросил он.

– В Коньково, – ответила Лена, – там две коровы в поле.

– А разве они сейчас не заперты?

– Нет, ты что. Специально устроено. Перед тем как ехать, Иван Сергеевич устроил звонок из райкома – мол, научный эксперимент, влияние ночного выпаса на надои. Что-то в этом роде.

– А что, в райкоме тоже наши?

– А ты думал.

Иван Сергеевич, бывший мужчина в черной куртке и с ленточкой на лбу, превратившейся сейчас в полоску темной шерсти, сидел рядом, слушал Лену и значительно кивал мордой.

– Здорово, – прорычал Саша, – как раз я жрать хочу.

Лена оскалила в улыбке острые белые клыки и махнула хвостом.

Саша скосил на нее глаза. Она вдруг показалась ему удивительно красивой: блестящая гладкая шерсть, нежный выгиб спины, стройные и сильные задние лапы, пушистый молодой хвост и трогательно перекатывающиеся под шкурой лопатки, в ней одновременно чувствовалась и сила, и какая-то открытость, беззащитность – словом, все то, что так бессилен описать волчий вой. Заметив его взгляд, Лена явно смутилась и отошла в сторону, прижимая хвост к земле. Саша тоже почувствовал смущение и принялся делать вид, что выгрызает что-то из шерсти на лапе.

– Еще раз спрашиваю: все готовы? – накрыл поляну низкий лай вожака.

– Все! Все готовы! – ответил дружный вой. Саша тоже провыл:

– Все!

– Тогда вперед.

Вожак потрусил к краю поляны – видно было, что он специально движется медленно и расхлябанно, так же, как спринтер, вразвалку подходящий к стартовым колодкам, чтобы

подчеркнуть ту быстроту и собранность, которую он покажет через миг после выстрела.

Остановясь на секунду в конце поляны – там, где начинались деревья, – вожак пригнул морду к земле. Саша понял, что тот определяет что-то по запаху. Прошла примерно минута.

Вдруг вожак взвыл и прыгнул в темноту, и сразу же, с лаем и визгом, за ним рванулись остальные. Прыгая в ночную тьму, утыканную острыми сучьями деревьев, Саша испытал то же самое, что бывает при прыжке в воду, когда неизвестна глубина, – мгновенный страх разбить голову о дно. Однако оказалось, что бег через ночной лес совершенно безопасен – каким-то образом Саша ощущал все возможные препятствия и без труда обходил их. Поняв, что ему ничего не грозит, он расслабился, после чего бежать стало легко и радостно – казалось, он не тратит никаких усилий на поддержание скорости, а тело мчится само по себе, высвобождая скрытую в нем силу.

Стая растянулась и образовала ромб. По краям летели матерые, мощные волки, а в центре – волчицы и волчата. Волчата ухитрялись играть на бегу, ловить друг друга за хвосты и совершать невообразимые прыжки. Сашино место было в вершине ромба, сразу за вожаком – откуда-то он уже знал, что это почетное место и сегодня оно уступлено ему, как новичку.

Вместе со всеми Саша проносился сквозь кусты, перепрыгивал канавы и сшибал лапами сухие ветки, оказывавшиеся на пути. Вдруг лес кончился и открылось большое пустынное поле, пересеченное дорогой, – стая помчалась по асфальту, разогнавшись еще быстрее и вытянувшись в серую ленту с правой стороны шоссе. Для человека вокруг было бы темно и пусто, но Саша всюду замечал жизнь: вдоль дороги сновали полевые мыши, при появлении волков исчезавшие в своих норах, будто Саша или кто-то другой из стаи стал бы утруждать себя из-за такой мелочи, свернулся колючим шаром еж на обочине и отлетел в поле, отброшенный легким ударом чьей-то лапы, и еще реактивными истребителями промчались два зайца, оставляя после себя густой след запаха, по которому было ясно, что они насмерть напуганы, а один из них вдобавок глуп как пробка.

Саша заметил, что Лена бежит рядом с ним.

– Осторожно, – провыла она и мотнула мордой вверх. Саша поднял глаза, предоставив телу самому заботиться о маршруте.

Вверху, низко над дорогой, летело несколько сов – точно с такой же скоростью, с какой волки мчались по асфальту. Совы несколько раз угрожающе ухнули, и волки в ответ зарычали. Саша почувствовал странную связь между рассекающими воздух птицами и бегущей по дороге стаей – несмотря на явную враждебность друг к другу, чем-то они были похожи.

– Кто это? – спросил он у Лены.

– Совы-оборотни. Знаешь, какие они крутые… Беги ты один…

Лена еще что-то пробормотала и с ненавистью поглядела вверх. Совы стали отдаляться от дороги и подниматься ввысь. Они летели, не махая крыльями, а просто широко расставив их в воздухе. Сделав высоко в небе круг, они повернули в сторону.

– На птицефабрику полетели, – объяснила Лена, – днем они там вроде как шефы.

Саша увидел, что они подбегают к развилке: впереди возник знакомый деревянный столб у дороги и высокое дерево. Саша почувствовал свой собственный, еще человеческий, след и даже какое-то эхо мыслей, приходивших ему в голову на дороге несколько часов назад, – это эхо оставалось в запахе. Столб оказался позади, стая плавно вписалась в поворот и помчалась к Конькову.

Лена чуть отстала, и теперь рядом с Сашей бежал декан – был он худым рыжеватым волком с как бы опаленной мордой. Еще у него была странная манера бежать – приглядевшись, Саша заметил, что это иноходь.

– Павел Васильевич! – провыл он, вспомнив наконец отчество.

Получилось что-то вроде: «Х-ррр-уууу-ввыы…», но декан узнал свое имя и дружелюбно повернул морду – насколько позволяла негнущаяся шея.

– А я у вас на факультете учусь, Павел Васильевич, – зачем-то сообщил Саша.

– Да? Это интересно, – отозвался декан, – то-то я гляжу – морда знакомая. Как сессию сдал?

– Нормально, – ответил Саша, – вот только по физике тройка.

Оба они высоко подпрыгнули, чтобы перелететь через длинную лужу, мягко приземлились на той стороне и помчались дальше.

– Это ты напрасно, – заметил декан, – физику надо знать. Основа основ.

Он издал серию похожих на хохот хриплых рыков и исчез впереди, высоко, как флаг на корме, подняв хвост. «Да пошел он со своей физикой», – подумал Саша.

Мимо пронесся на все хотевший класть гипсовый часовой, потом – указатель с надписью «Колхоз „Мичуринский“, и вот уже вспыхнули вдали редкие огни Конькова.

Деревня приготовилась к встрече надежно. Она чем-то напоминала состоящий из множества водонепроницаемых отсеков корабль – когда настала ночь и на улицы, которых было всего три, хлынула темнота, дома задраились изнутри и теперь поддерживали в себе желтое электрическое сияние разумной жизни независимо друг от друга. Так и встретило волков-оборотней Коньково: желтыми зашторенными окнами, тишиной, безлюдьем и автономностью каждого человеческого жилища, никакой деревни уже не было, а было несколько близкорасположенных пятен света посреди мировой тьмы.

Длинные серые тени понеслись по главной улице и закрутились перед клубом, гася инерцию бега. Двое волков отделились от стаи и исчезли между домами, а остальные уселись в центре площади – Саша тоже сел в круг и с неясным чувством поглядел на клуб, где совсем недавно собирался ночевать, про который уже успел забыть и возле которого опять оказался при таких неожиданных обстоятельствах. «Вот ведь как бывает в жизни», – сказал у него в голове чей-то мудрый голос.

– Лен, а куда они… – повернулся он к Лене.

– Сейчас будут, – перебила она его, – помолчи.

Еще когда они подбегали к Конькову, луна ушла за длинное рваное облако, и теперь площадь освещалась только лампой под жестяным конусом, подрагивающей на ветру. Поглядев по сторонам, Саша нашел картину зловещей и прекрасной: стального цвета тела неподвижно сидели вокруг пустого, похожего на арену, пространства, оседала поднятая их появлением пыль, сверкали глаза и клыки, а крашеные домики людей по краям площади, облепленные телеантеннами и курятниками, гаражи из ворованной жести и косой парфенон клуба, перед которым брел в никуда небольшой вождь, – все это казалось даже не декорацией к реальности, сосредоточенной на сорока круглых метрах в центре площади, а пародией на такую декорацию.

В тишине и неподвижности прошло несколько минут. Потом что-то появилось со стороны одной из узких улиц, отходивших от главной. Саша увидел три волчьих силуэта, трусцой приближающихся к площади. Двое волков были знакомы – Иван Сергеевич и милиционер, – а третий, между ними – нет. Саша почувствовал его запах, полный какой-то затхлой самодовольности и одновременно испуга, и подумал: кто бы это мог быть?

Волки приблизились. Милиционер чуть отстал, потом разогнался и грудью налетел на третьего, втолкнув его в центр круга, после чего они с Павлом Сергеевичем уселись на оставленные для них места. Круг замкнулся, а в центре его теперь находился неизвестный.

Вожак тяжело поглядел на милиционера.

– Ты это брось, – провыл он. – Что за манеры. Здесь тебе не сто восьмое отделение.

Милиционер отвел морду. Саша тем временем внюхался в неизвестного: тот производил такое впечатление, какое в человеческом эквиваленте мог бы произвести мужчина лет пятидесяти, конически расширяющийся книзу, с наглым и жирным лицом, – и вместе с тем странно легкий и как бы надутый воздухом.

Неизвестный покосился на пихнувшего его волка, после чего с неуверенной веселостью сказал:

– Так. Стая полковника Лебеденко в полном составе. Ну и чего мы хотим? К чему вся эта патетика? Ночь, круг?

– Мы хотим поговорить с тобой, Николай, – ответил вожак.

– Охотно, – ответил Николай, – это я всегда… Вот, к примеру, можно поговорить о моем последнем изобретении. Это игра для тех, у кого развито эстетическое чувство. Я назвал ее игрой в мыльные пузыри. Как ты знаешь, я всегда любил игры, а в последнее время…

Саша вдруг заметил, что следит не за тем, что говорит Николай, а за тем, как, – говорил он быстро, каждое следующее слово набегало на предыдущее, и казалось, что он использует слова для защиты от чего-то крайне ему не нравящегося – как если бы оно карабкалось вверх по лестнице, а Николай (Саша почему-то представил себе его человеческий вариант), стоя на площадке, швырял бы в это что-то все попадающиеся под руку предметы.

– …создать круглую и блестящую модель происходящего.

– В чем же заключается эта игра? – спросил вожак, – расскажи. Мы тоже любим игры.

– Очень просто. Берется какая-нибудь мысль, и из нее выдувается мыльный пузырь. Показать?

– Покажи.

– К примеру… – Николай задумался на секунду, а потом сказал: – Возьмем самое близкое: вы и я.

– Мы и ты, – повторил вожак.

– Да. Вы сидите вокруг, а я стою в центре. Это то, из чего я буду выдувать пузырь. Итак…

Николай улегся на брюхо и принял расслабленную позу.

– …итак, вы стоите, а я лежу в центре. Что это значит? Это значит, что некоторые аспекты плывущей мимо меня реальности могут быть проинтерпретированы таким образом, что я, довольно грубо вытащенный из дома, якобы приведен и якобы посажен в центр якобы круга якобы волков. Возможно, это мне снится, возможно – я сам чей-то сон, но безусловно одно: что-то происходит. Итак, мы срезали верхний пласт, и пузырь начал надуваться. Займемся более нежными фракциями происходящего – и вы увидите, какие восхитительные краски проходят по его утончающимся стенкам. Вы, как это видно по вашим мордам, принесли с собой обычный набор унылых упреков. Мне не надо выслушивать вас, чтобы понять, что вы способны мне сказать. Мол, я не волк, а свинья – жру на помойке, живу с дворняжкой и так далее. Это, по-вашему, низко. А та полоумная суета, которой вы сами заняты, по-вашему – высока. Но вот сейчас на стенках моего пузыря отражаются совершенно одинаковые серые тела – любого из вас и мое, – а еще в них отражается небо – и, честное слово, при взгляде оттуда очень похожи будут и волк, и дворняжка, и все то, чем они заняты. Вы бежите куда-то ночью, а я лежу среди старых газет на своей помойке – как, в сущности, ничтожна разница! Причем если за точку отсчета принять вашу подвижность – обратите на это внимание! – выйдет, что на самом деле бегу я, а вы топчетесь на месте.

Он облизнулся и продолжил:

– Вот пузырь наполовину готов. Далее выплывает ваша главная претензия ко мне – то, что я нарушаю ваши законы. Обратите внимание – ваши, а не мои. Если уж я и связан

законами, то собственного сочинения, и считаю, что это мое право – выбирать, чему и как подчиняться. А вы не в силах разрешить себе то же самое. Но чтобы не выглядеть в собственных глазах идиотами, вы сами себя уверяете, что существование таких, как я, может как-то вам навредить.

– Вот здесь ты попал в самую точку, – заметил вожак.

– Что же, я не отрицаю, что – гипотетически – способен принести вам известные неудобства. Но если это и произойдет, почему бы вам не считать это своеобразным стихийным бедствием? Если бы вас стал лупить град, вы, думаю, вместо того, чтобы обращаться к нему с увещеванием, постарались бы куда-то спрятаться. А разве я – с абстрактной точки зрения – не явление природы? В самом деле, выходит, что я – в своем, как вы говорите, свинстве – сильнее вас, потому что не я прихожу к вам, а вы ко мне. И это тоже данность. Видите, как растет пузырь. Теперь осталось его додуть. Мне надоели эти ночные визиты. Ладно еще, когда вы ходили по одному, – сейчас вы приперлись всей стаей. Но раз уж так вышло, давайте выясним наши отношения раз и навсегда. Чем вы можете реально мне помешать? Ничем. Убить меня вы не в состоянии – сами знаете почему. Переубедить – тоже, для этого вы, пардон, недостаточно умны. В результате остаются только ваши слова и мои – а на стенках пузыря они равноправны. Только мои изящнее, но это, в конце концов, дело вкуса. На мой взгляд, моя жизнь – это волшебный танец, а ваша – бессмысленный бег в потемках. Поэтому не лучше ли нам поскорей разбежаться? Вот пузырь отделился и летит. Ну как?

Пока Николай выл, жестикулируя хвостом и левой передней лапой, вожак молча слушал его, глядя в пыль перед собой и изредка кивая. Дослушав, он медленно поднял морду – одновременно из-за облака вышла луна, и Саша увидел, как она блестит на его клыках.

– Ты, Николай, видимо думаешь, что выступаешь перед бродячими собаками на своей помойке. Лично я не собираюсь спорить с тобой о жизни. И я не знаю, кто это тебя навещал, – вожак оглянулся на остальных волков, – для меня это новость. Сейчас мы здесь по делу.

– По какому же?

Вожак повернулся к кругу.

– У кого письмо?

Из круга вышла молодая волчица – Саша узнал Таню из Инязя – и уронила из пасти свернутую трубкой бумажку.

Вожак расправил ее лапой, которая на секунду стала человеческой ладонью, и прочел:

«Уважаемая редакция!»

Николай, болтавший до этого хвостом, перестал это делать.

«Вам пишет один из жителей села Коньково. Село наше недалеко от Москвы, а подробный адрес указан на конверте. Имени своего не называю по причине, которая станет ясна из дальнейшего.

В последнее время в нашей печати появился целый ряд публикаций, рассказывающих о явлениях, ранее огульно отрицавшихся наукой. В связи с этим я хочу сообщить вам об удивительном феномене, который с научной точки зрения значительно интереснее таких привлекающих всеобщее внимание явлений, как рентгеновское зрение или ассирийский массаж. Сообщенное мной может показаться вам шуткой, поэтому сразу оговорюсь, что это не так.

Вы, вероятно, не раз натыкались на слово «вервольф», обозначающее человека, который умеет превращаться в волка. Так вот, за этим словом стоит реальное природное явление. Можно сказать, что это одна из древних традиций, чудом уцелевшая до нашего времени. В нашем селе живет Николай Петрович Вахромеев, скромнейший и добрейший человек, который владеет этим древним умением. В чем суть этого феномена, может, конечно, рассказать только он. Я и сам бы не поверил в возможность подобных вещей, не окажись я случайно свидетелем того, как Николай Петрович, обернувшись волком, спас от стаи диких собак маленькую девочку…»

– Это вранье? Или с корешами договорился? – перебив сам себя, спросил вожак.

Николай не ответил, и вожак стал читать дальше:

«Я дал Николаю Петровичу слово, что никому не расскажу об увиденном, но нарушаю его, так как считаю, что необходимо изучать это удивительное явление природы. Именно из-за данного мною слова я и не называю своего имени – кроме того, прошу Вас не рассказывать о моем письме. Сам Николай Петрович ни разу в жизни не сказал неправды, и я не знаю, как буду глядеть ему в глаза, если он узнает об этом.

Признаюсь, что кроме желания содействовать развитию науки, мной движет еще один мотив. Дело в том, что Николай Петрович сейчас находится в бедственном положении – живет на ничтожную пенсию, которую к тому же щедро раздает направо и налево. Хотя сам Николай Петрович не придает никакого значения этой стороне жизни, ценность его познаний для всего, не побоюсь сказать, человечества такова, что ему необходимо обеспечить совсем другие условия существования.

Николай Петрович – настолько отзывчивый и добрый человек, что, я уверен, не откажется от сотрудничества с учеными и журналистами. Сообщу то немногое, что рассказал мне Николай Петрович во время наших бесед, – в частности, ряд исторических фактов…»

Вожак перевернул бумажку:

– Так, тут ничего интересного… бред… при чем тут Стенька Разин… где же… Ага, вот:

«Кстати сказать, обидно, что для определения этого исконно русского понятия до сих пор используется иностранное слово. Я бы предложил слово „верволк“ – русский корень указывает на происхождение феномена, а романоязычная приставка помещает его в общеевропейский культурный контекст».

– Уж по этой-то последней фразе, – заключил вожак, – окончательно стало ясно, что отзывчивый и добрый Николай Петрович и неизвестный житель Конькова – одна и та же морда.

Помолчали. Потом вожак посмотрел на Николая.

– Ведь они приедут, – сказал он с грустью. – Они такие идиоты, что могут поверить. Может, они уже были бы здесь, не попади это письмо к Ивану. Но ведь ты и в другие журналы, верно, послал?

Николай хлопнул лапой по пыльной земле:

– Слушайте, к чему эта болтовня? Балаган этот? Я делаю то, что считаю нужным, переубеждать меня не стоит, а ваше общество, признаться, не очень мне нравится. И давайте на этом простимся.

Он сделал движение, собираясь встать с брюха.

– Подожди, – сказал вожак. Не торопись так. Печально говорить тебе это, Николай, но похоже, что твой волшебный танец на помойке на этот раз прервется.

– Что это значит? – надменно подняв уши, спросил Николай.

– А то, что у мыльных пузырей есть свойство лопаться. Когда ты сказал, что мы не можем тебя убить, ты был прав – но посмотри на него.

Вожак показал лапой на Сашу. Саша вздрогнул.

– Я его не знаю, – ответил Николай. Его глаза опустились на Сашину тень. Саша тоже посмотрел вниз и увидел то, чего раньше не замечал: тени всех остальных были человеческими, а его собственная – обыкновенной волчьей.

– Это новичок, – сказал вожак. – Сегодня мы помогли ему стать волком, и, на наш взгляд, он может занять твое номинальное место в стае. Если победит тебя. Ну как?

Последний вопрос вожака явно передразнивал характерный вой Николая.

– А ты, оказывается, знаток древних законов, – ответил Николай, стараясь рычать иронично.

– Как и ты, – сказал вожак. – Разве не ими ты собираешься приторговывать? Только ты все-таки очень не умен. Подумай сам – кому, например, интересно, что тот, кто услышит зов, может убить оборотня и занять его место в стае? Кто тебе за это заплатит? Газета «Воздушный транспорт»? Большая часть наших знаний никому из людей не нужна.

– Есть еще меньшая часть, – пробормотал Николай, ощупывая круг глазами. Но выхода не было – круг был замкнут.

Саша наконец понял смысл происходящего. Ему предстояло драться с этим жирным старым волком.

«Но я же не слышал никакого зова, – подумал он, – я даже не знаю, что это такое!» Он посмотрел по сторонам – все глаза были направлены на него. «Может, сказать всю правду? – подумал он, – вдруг отпустят…»

Он вспомнил то, что чувствовал после превращения, потом – то, как они вместе только что мчались по ночному лесу и дороге – такого с ним не было еще никогда. «Но ведь ты самозванец. У тебя нет ни одного шанса», – сказал чей-то знакомый голос в его голове. А другой голос – вожака – пришел снаружи:

– Что касается тебя, Саша, то это твой шанс.

Только что Саша собирался открыть пасть и во всем признаться, но вдруг его лапы сами собой шагнули вперед и он услышал хриплый от волнения лай:

– Я готов.

Потом он понял, что только что сказал это сам, и сразу успокоился. Какая-то волчья часть приняла на себя управление его действиями, и все проблемы сразу отпали.

Стая одобрительно зарычала. Николай медленно поднял на Сашу тусклые желтые глаза.

– Только учти, дружок, – это очень маленький шанс, – сказал он. – Совсем маленький. Похоже, что это твоя последняя ночь.

Саша промолчал. Николай по-прежнему лежал на земле.

– Тебя ждут, Николай, – мягко сказал вожак.

Николай лениво зевнул – и вдруг взлетел вверх: распрямленные лапы подбросили его в воздух, как пружины, и когда он приземлился, уже ничего в нем не напоминало большую измотанную собаку – это был настоящий волк, полный ярости и спокойствия, его шея была напряжена, а глаза глядели сквозь Сашу.

По стае опять прошел одобрительный рык. Волки быстро обсудили что-то шепотом, один из них подбежал к вожаку и приблизил пасть к его уху.

– Да, – сказал вожак, – это несомненно так.

Он повернулся к Саше.

– Перед дракой положена перебранка, – сказал он. – Стая настаивает.

Саша сглотнул и поглядел на Николая. Тот пошел вдоль границы круга, не отрывая глаз от чего-то расположенного за Сашей, – и Саша тоже пошел вдоль живой стены, следя за противником, несколько раз они обошли круг, а потом остановились.

– Вы, Николай Петрович, мне не нравитесь, – выдавил из себя Саша.

– О том, что тебе нравится, щенок, – с готовностью ответил Николай, – будешь рассказывать своему папаше.

Саша почувствовал, что напряжение спало.

– Пожалуй, – сказал он, – я-то во всяком случае знаю, кто он.

Это была, кажется, фраза из какого-то старого французского романа – она была бы уместней, возвышайся где-нибудь слева залитая луной Нотр-Дам, но ничего лучше не пришло в голову.

«Проще надо», – подумал Саша и спросил:

– А что это у вас на хвосте такое мокрое?

– Да это я какому-то Саше мозги вышиб, – ответил Николай.

Они опять пошли по медленно сходящейся к центру круга спирали, оставаясь друг напротив друга.

– На помойках, наверно, и не такое бывает, – сказал Саша, – а вас там не раздражают запахи?

– Меня твой запах раздражает.

– Потерпите, – сказал Саша, – осталось совсем чуть-чуть.

Он начинал входить во вкус разговора. Николай остановился. Саша тоже остановился и прищурился – свет фонаря неприятно резал глаза.

– Твое чучело, – сказал Николай, – будет стоять в местной средней школе, и под ним будут принимать в пионеры. А рядом будет глобус.

– Ладно, давайте напоследок на «ты», – сказал Саша. – Ты любишь Есенина, Коля?

Николай ответил неприличной переделкой фамилии покойного поэта.

– Зря ты так. Я из него замечательную цитату вспомнил, – продолжал Саша, – такую: «Ты скулишь, как сука при луне». Не правда ли, скупыми и емкими…

Николай Петрович прыгнул.

Саша совершенно не представлял себе, что такое драка двух волков-оборотней. Однако каким-то образом все становилось ясно по мере развития событий. Когда он и его противник ходили по кругу и переругивались, он понял, что это делается, во-первых, по традиции – чтобы развлечь стаю, во вторых – чтобы как следует присмотреться друг к другу и выбрать подходящий момент для начала драки. Саша допустил оплошность – он слишком увлекся перепалкой, и противник прыгнул на него из скрадывающей движения полутьмы, когда Сашу слепил свет фонаря.

Но как только это произошло, как только передние лапы и оскаленная пасть Николая высоко поднялись над землей, что-то изменилось: продолжение прыжка Саша видел уже замедленно, и за то время, пока задние лапы Николая еще касались земли, он успел обдумать несколько вариантов своих действий, причем думалось тоже как-то необычно – спокойно и ясно. Саша прыгнул в сторону – сначала он дал своему телу команду, а потом просто наблюдал, как оно ее выполняет: тело медленно пришло в движение, постепенно оторвалось от земли и взлетело в плотный

темный воздух, пропуская мимо падающую сверху тяжелую серую тушу.

Саша понял свое преимущество – он был легче и намного подвижней. Зато противник был опытней и сильней и наверняка знал какие-нибудь тайные приемы. Саша боялся именно этого.

Приземлясь, Саша увидел, что Николай стоит боком, присев, и поворачивает к нему морду. Саше показалось, что бок Николая открыт, и он прыгнул на него, целясь раскрытой пастью в пятно более светлой шерсти – откуда-то он уже знал, что так выглядит уязвимое место. Николай тоже прыгнул, но как-то странно – как стоял, боком, и закрутив свое тело. Саша не понимал, что происходит: вся задняя часть Николая была открыта, и он словно сам подставлял свою плоть под клыки, медленно поворачиваясь в воздухе. Когда он понял, было уже поздно: жесткий, как стальная плетка, хвост хлестнул его по глазам и носу, ослепив и, главное, лишив обоняния. Боль была невыносимой – но Саша знал, что никаких серьезных ранений не получил. Опасность заключалась в том, что секундного Сашиного ослепления могло хватить Николаю для нового – последнего – прыжка.

Падая на вытянутые лапы и уже считая себя пропавшим, Саша вдруг понял, что сейчас перед ним должен находиться бок или шея врага, и вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, как подсказывали боль и инстинкт, он рванулся вперед, еще ничего не видя и чувствуя такой же страх, как во время своего первого волчьего прыжка – с поляны в тьму между деревьями. Некоторое время он парил в пустоте, а потом его онемевший нос врезался во что-то теплое и податливое, тогда Саша с силой сомкнул челюсти.

В следующую секунду они уже стояли друг напротив друга, как в самом начале драки. Время опять разогналось до своей обычной скорости. Саша помотал мордой, чтобы прийти в себя после ужасного удара хвостом. Он ждал нового прыжка своего врага, но вдруг заметил, что передние лапы у того дрожат и язык вывешивается из пасти. Так прошло несколько мгновений, а потом Николай повалился набок, и возле его горла стало расплываться темное пятно. Саша сделал было шаг вперед, но поймал взгляд вожака и остановился.

Он поглядел на умирающего перед ним волка-оборотня. Тот несколько раз дернулся, затих, и его глаза закрылись. А потом по его телу пошла дрожь, но не такая, как раньше, – Саша ясно

чувствовал, что дрожит уже мертвое тело, и это было непонятно и жутко. Потом контур лежащей фигуры стал размываться, пятно возле горла исчезло, и на покрытой следами от лап земле возник толстый человек в трусах и майке – он громко храпел, лежа на животе. Вдруг его храп прервался, он повернулся на бок и сделал такое движение рукой, будто поправлял подушку. Но его рука схватила пустоту, и, видимо, от этой неожиданности он проснулся. Открыв глаза, он поглядел вокруг и опять закрыл их. Через секунду он открыл их снова и немедленно завопил на такой пронзительной ноте, что по ней, как подумал Саша, вполне можно было бы настраивать самую душераздирающую из всех милицейских сирен. С этим воплем он вскочил на ноги, нелепым движением перепрыгнул через ближайшего волка из круга и помчался вдаль по темной улице, издавая все тот же не меняющийся звук. Наконец он исчез за поворотом, и там же его стон стих, сменившись каким-то осмысленными выкриками – слов, однако, нельзя было разобрать.

Стая дико хохотала. Саша поглядел на свою тень и вместо вытянутого силуэта морды увидел полукруг затылка с торчащим клоком волос и два выступа ушей – своих, человеческих. Подняв глаза, он заметил, что вожак смотрит прямо на него.

– Ты понял, в чем дело? – спросил он.

– Мне кажется, да, – ответил Саша. – Он будет что-нибудь помнить?

– Нет. Остаток жизни он будет считать, что ему приснился кошмар, – ответил вожак и повернулся к остальным.

– Уходим, – сказал он.

Обратная дорога не запомнилась Саше. Возвращались каким-то другим путем, напрямик через лес, – так было короче, но времени это заняло столько же, потому что бежать приходилось медленнее, чем по шоссе.

На поляне догорали последние угли костра. Женщина в бусах дремала за стеклом машины – когда появились волки, она приоткрыла глаза, помахала рукой и улыбнулась. Из машины, правда, она не вылезла.

Саша чувствовал печаль. Ему было немного жаль старого волка, которого он загрыз в люди, и, вспоминая перебранку, а особенно – то изменение, которое произошло с Николаем за минуту до драки, он испытывал к нему почти симпатию. Поэтому

он старался не думать о случившемся – и через некоторое время действительно забыл о нем. Морда еще ныла от удара. Он лег на траву.

Некоторое время он лежал с закрытыми глазами. Потом он ощутил сгустившуюся тишину и поднял морду – со всех сторон на него молча глядели волки.

Казалось, они чего-то ждут. «Сказать?» – подумал Саша. И решился.

Поднявшись на лапы, он пошел по кругу – так же, как в Конькове, только теперь напротив не было противника. Единственным, что там иногда появлялось, была его тень – человеческая тень, как и у всех остальных в стае.

– Я хочу признаться в одной вещи, – тихо провыл он. – Я обманул вас.

Стая молчала.

– Я не слышал никакого зова. Я даже не знаю, что это такое. Я оказался здесь совершенно случайно.

Он закрыл глаза и стал ждать ответа. Еще секунду стояла тишина, а потом до него долетел взрыв хриплого лающего хохота и воя. Саша открыл глаза.

– Что такое? – спросил он с недоумением.

Новая вспышка хохота. Наконец вокруг успокоились и заговорил вожак.

– Послушай, – сказал он, – вспомни-ка, как ты здесь оказался.

– Заблудился в лесу, – ответил Саша.

– Я не про это. Вспомни, почему ты приехал в Коньково.

– Просто так. Я люблю за город ездить.

– Но почему – именно сюда?

– Почему? Сейчас… А, я увидел одну фотографию, которая мне понравилась – красивый вид. А в подписи было сказано, что это подмосковная деревня Коньково. Только здесь все оказалось по-другому…

– А где ты увидел эту фотографию? – спросил вожак.

– В «Детской энциклопедии».

На этот раз смеялись долго.

– Ну, – продолжал вожак, – а зачем ты туда полез?

– Я… – Саша вспомнил, и это было как вспышка света в черепе, – я искал фотографию волка! Ну да, я проснулся, и мне почему-то захотелось увидеть фотографию волка! Я искал ее по всем книгам. Что-то я думал… А потом забыл… Так это и был?…

– Именно, – ответил вожак.

Саша посмотрел на Лену, которая спрятала морду в лапы и тряслась от смеха.

– Так почему же вы мне сразу не сказали?

– А зачем? – отвечал вожак, сохраняя спокойный вид среди всеобщего веселья. – Услышать зов – это не главное. Это не сделает тебя оборотнем. Знаешь, когда ты стал им по-настоящему?

– Когда? – спросил Саша.

– Когда ты согласился драться с Николаем, считая, что не имеешь никакой надежды на победу. Именно тогда и изменилась твоя тень.

– Да. – Да. – Это так, – подтвердили несколько голосов в наступившей тишине.

Саша помолчал. Его мысли беспорядочно блуждали. Потом он поднял морду и спросил:

– А что это за эликсир, который мы пили?

Вокруг захохотали так, что женщина, сидящая в машине, опустила стекло и высунулась. Вожак тоже еле сдерживался – его морду перекосила кривая ухмылка.

– Ему понравилось, – сказал он остальным, – дайте ему еще эликсира!

И тоже захохотал. Какой-то флакон упал к Сашиным лапам – он склонил морду и, напрягая зрение, прочел:

– «Лесная радость. Эликсир для зубов. Цена 92 копейки».

– Это просто шутка, – сказал вожак. – Но если б ты знал, какой у тебя был вид, когда ты его глотал… Запомни: волк-оборотень превращается в человека и обратно по желанию, в любое время и в любом месте.

– А коровы? – вспомнил Саша, уже не обращая внимания на новую вспышку веселья. – Мне же сказали, что мы бежим в Коньково, чтобы…

Он не договорил и махнул лапой.

Смеясь, волки расходились по поляне и ложились в высокую густую траву. Вожак по-прежнему стоял напротив Саши.

– Скажу тебе еще вот что, – проговорил он, – ты должен помнить, что только оборотни – это реальные люди. Если ты посмотришь на свою тень, ты увидишь, что она человеческая. А если ты своими волчьими глазами посмотришь на тени людей, ты увидишь, что это тени свиней, петухов и жаб…

– Еще бывают пауки, мухи и летучие мыши, – сказал остановившийся рядом Иван Сергеевич.

– Верно. А еще – обезьяны, кролики и козлы. А еще…

– Ну что ты пугаешь мальчика, – перебил Иван Сергеевич, – ведь все придумываешь на ходу. Саша, не слушай.

Оба старых волка захохотали, глядя друг на друга, и Иван Сергеевич побежал дальше.

– Даже если я и придумываю все это на ходу, – заметил вожак, – это тем не менее правда.

Он повернулся, чтобы уйти, но остановился, заметив Сашин взгляд.

– Ты хочешь что-то спросить?

– Да, – ответил Саша. – Кто такие верволки на самом деле?

Вожак внимательно посмотрел ему в глаза и чуть оскалился.

– А почему б тебе не начать с вопроса, кто такие на самом деле люди?

Оставшись один, Саша лег в траву и задумался. К нему подошла Лена и устроилась рядом.

– Сейчас луна достигнет зенита, – сказала она, – погляди-ка вверх.

Саша поднял глаза.

– Разве это зенит? – спросил он.

– Это особенный зенит, – ответила Лена, – на луну надо не смотреть, а слушать. Попробуй.

Саша прислушался. Сначала был слышен только качавший листву ветер и треск ночных насекомых, а потом до его слуха донеслось что-то похожее на далекое пение или музыку – так бывает, когда неясно, что звучит: инструмент или голос. Заметив этот звук, Саша отделил его от остальных, и звук стал расти, став через некоторое время достаточно громким, чтобы можно было слушать его без напряжения. Мелодия, казалось, исходила прямо от луны – и была похожа на музыку, игравшую на поляне до превращения. Только тогда она казалась угрожающей и мрачной, а сейчас, наоборот, успокаивала.

Мелодия, которую слышал Саша, была чудесной, но в ней были какие-то досадные провалы, какие-то пустоты. Он вдруг понял, что может заполнить их своим голосом, и завыл – сначала тихо, а потом громче, подняв вверх пасть и забыв про все

остальное – тогда, слившись с его воем, мелодия стала совершенной.

Саша заметил, что рядом с его голосом появились другие – они были совсем разными, но ничуть не мешали друг другу. Как будто несколько растений вились вокруг общего стержня или нити – и все были непохожи.

Скоро выла уже вся стая. Саша понимал и чувства, наполняющие каждый голос, и общий смысл всего слышимого. Каждый голос выл о чем-то своем: Лены – о чем-то легком, похожем на удары капель дождя о звонкую жесть крыши, низкий бас вожака – о неизмеримых темных безднах, над которыми он взвился в прыжке, дисканты волчат – о радости из-за того, что они живут, что утром бывает утро, а вечером – вечер, и еще о какой-то непонятной печали, похожей на радость, – вслушиваясь в музыку, Саша вдруг первый раз в жизни ощутил, как непостижим и прекрасен мир, в центре которого он лежит на брюхе.

Музыка становилась все громче, луна наплывала на глаза, закрывая все небо, – и в какой-то момент она обрушилась на Сашу, или это он оторвался от земли и упал на ее приблизившуюся поверхность.

Придя в себя, он почувствовал слабые толчки и гудение мотора. Он открыл глаза и увидел, что полулежит на заднем сиденье машины, под ногами у него – рюкзак, рядом спит Лена, положив голову ему на плечо, а за рулем впереди сидит вожак стаи, полковник танковых войск Лебеденко. Саша собрался что-то сказать, но полковник, отраженный зеркальцем над рулем, улыбнулся и прижал к губам палец, тогда Саша повернулся к окну.

Машины, растянувшись в длинную цепь, мчались по шоссе. Было ранее утро, солнце только что появилось, и асфальт впереди казался бесконечной розовой лентой. На горизонте возникали игрушечные дома надвигающегося города.

Макс Фрай

из сборника

“Сказки старого Вильнюса”

Улица Гаоно (Gaono g.)
Спящие полицейские

Шел ночью по городу, хмельной, невесомый, почти крылатый, сам с собой не знакомый, как всегда бывает после самого первого счастливого свидания, которое вполне может стать началом совершенно новой жизни, а может и не стать, но неизвестность пока не тревожит, а только сладко кружит голову, как высота.

Можно было бы остаться у Яси до утра, но портфель с необходимыми на работе документами лежал дома, любимая бритва и неизбежный офисный костюм обитали там же, поэтому часа в три ночи все-таки пришлось одеться и выйти в хрустящую, светлую от снега и лунного света ночь.

Тонкое пижонское пальто не грело совершенно. Радость, напротив, грела – первые три квартала. Потом зубы легонько лязгнули, а еще несколько минут спустя выдали уверенную, почти профессиональную дробь. Вызывать такси казалось идиотизмом: до дома отсюда минут семь быстрым шагом, ждать машину придется дольше. Но эти семь минут в любом случае надо было как-то пережить.

Нащупал во внутреннем кармане плоскую серебряную флягу с коньяком. Как и пальто, она была данью скорее пижонству, чем необходимости. Однако сейчас оказалась как нельзя более кстати. Три небольших глотка изменили все: звонкий морозный мир, и без того вполне прекрасный, стал совсем уж восхитительным пространством рождественской открытки, этаким фрагментом уютного ледяного рая для праведников Крайнего Севера, после смерти не пожелавших менять привычные климатические условия. Следовало в любую минуту ожидать появления толстых снегирей, клюющих золоченые шишки, оленей с серебряными рогами и румяного Санты с мешком подарков.

Однако, свернув на улицу Гаоно, не увидел там ни оленей, ни снегирей. Поначалу даже удивился. Принялся оглядываться по сторонам – да где же они? Споткнулся. Чуть не упал, но все-таки удержался на ногах, не столько благодаря ловкости, сколько из твердой уверенности, что в волшебном мире рождественских открыток нет места синякам, шишкам и прочим досадным неприятностям. Посмотрел под ноги и увидел невольного обидчика – присыпанный снегом черный каучуковый бугорок, искусственное препятствие для автомобилей, чтобы не разгонялись. Вспомнил: такие штуки называют «лежачими полицейскими», – и немедленно преисполнился сочувствия. Как же плохо быть полицейским! Особенно лежачим. Собачья работа. Такая прекрасная, невыносимо холодная лунная ночь, а бедняга на посту. Ни тебе на свидание сходить, ни дома под теплым одеялом поваляться, ни коньячку хлопнуть. Очень несправедливо.

Покаянно подумал: «Не всем так повезло в жизни, как тебе». Расчувствовался.

Снова достал из кармана флягу, плеснул немного коньяку на черную резину. Сказал: «Твое здоровье, Альбертас!» С чего взял, что лежачего полицейского зовут именно Альбертасом, неизвестно. Но откуда-то знал это без тени сомнения, как и положено безмятежным подвыпившим дуракам.

Утверждать, будто услышал в ответ: «Спасибо», – было бы некоторым преувеличением. Вслух, по крайней мере, никто ничего не говорил. И пресловутые «голоса в голове» определенно не звучали. Только некое невнятное ощущение, почти физическое, как будто не то руку на плечо положили, не то в ухо вздохнули, так сразу не разберешь. В жизни каждого человека подобных смутных ощущений полно. Чтобы придавать им значение, нужно быть счастливым идиотом, захмелевшим от нескольких капель коньяка на морозе.

Таким, собственно, и был.

Сказал: «Хорошей ночи, Альбертас», – и пошел дальше.

С тех пор лежачие полицейские стали чем-то вроде личного мини-наваждения. Или игры. Всюду их замечал, хоть и ходил пешком, за руль садился только ради поездок за город и еженедельных закупок в супермаркете. Однако лежачих полицейских видел теперь издалека. И откуда-то знал, как их всех зовут. Ну, то есть сам придумывал им имена. Наверное. Поди разбери, как оно в голове устроено.

Например, на улице Гаоно кроме Альбертаса имелся еще и Арвидас, метрах в двадцати от коллеги. На Чюрлёнё, неподалеку от работы, лежали Римас и пан Бучонис, такой солидный, что звать его по имени оказалось совершенно невозможно, только по фамилии, уважительно, с вежливым полупоклоном. На Бокшто, за углом от Ясиного дома дежурил Йонас, один, без напарника. Возле большой «Максимы»[2] на Миндауго – Мантас и Джордж; о последнем каким-то образом было известно, что он приехал из Америки по программе обмена лежачим полицейским опытом, да так и застрял в Вильнюсе. Нравится ему тут.

И так далее.

Йонас, Альбертас и Арвидас, которых встречал почти каждую ночь, возвращаясь от Яси, быстро стали чем-то вроде приятелей. Они были свидетелями всех радостей этой зимы. Радостей оказалось так много, что еще чуть-чуть и, того гляди, разучился бы касаться земли при ходьбе.

Зима же выдалась лютая, с детства такой не помнил. Тонкое пижонское пальто пришлось сменить на старую дубленку, тяжелую, как Сизифов камень; Яся подарила модную вязаную шапку с длинными, украшенными кисточками, ушами; дома нашелся старый кашемировый шарф, теплый до изумления; последним стратегическим маневром стало приобретение ботинок на два размера больше, под них можно было надевать купленные на рынке носки из толстой шерсти. Ходить по улицам стало не то чтобы комфортно, но – вполне возможно. Уже немало.

Сочувствие к лежачим полицейским росло по мере понижения температуры. Они, конечно, не теплокровные. И не то чтобы такие уж органические. Их счастье. Когда термометр показывает минус двадцать пять, неорганическая жизнь – лучшее решение. А все равно жалко ребят. Альбертаса, Арвидаса, Йонаса, Римаса, пана Бучониса, Мантаса и Джорджа. Джорджа особенно. Приехал, понимаешь, по обмену в страну с умеренным климатом, среднегодовой температурой плюс шесть, теплой (теоретически) зимой и прохладным летом. А тут – сюрприз, сюрприз! Во попал мужик.

Фляга с коньяком по-прежнему всегда была с собой, во внутреннем кармане. И редкий вечер теперь обходился без глотка-другого, потому что Яся непременно тащила гулять, хоть на полчаса, ее тоже распирало от счастья, и прогулки по морозу помогали остудить горячую голову до совместимой с жизнью температуры. И путь от Яси домой тоже никто не отменял, возвращался от нее не каждый день, но довольно часто, обычно заполночь, когда мороз особенно лют.

Сразу за порогом делал глоток, выливал несколько капель на едва заметный под смерзшимся снегом бугорок: «Твое здоровье, Йонас!» И потом, на улице Гаоно, снова доставал флягу. «Арвидас, Альбертас, за вас, ребята!» Отпивал сам, щедро делился с лежачими полицейскими. Альбертасу обычно доставалось чуть больше, как старейшему другу, единственному свидетелю самой первой счастливой ночи, завершившейся прогулкой от Яси домой.

Не то чтобы всерьез полагал, будто каучуковым сооружениям действительно так уж необходим коньяк, чтобы согреться. И не настолько заигрался, чтобы считать лежачих полицейских заколдованными (к примеру) людьми. Просто такой ритуал. Случайно, по вдохновению сложившийся и потому особенно важный. Вылитый коньяк становился чем-то вроде благодарственной языческой жертвы. Возвращаться заполночь от Яси и не говорить за это «спасибо» было бы свинством. Абсолютно все равно кому, лишь бы говорить.

Однажды, выплеснув из фляги коньяк: «Твое здоровье, Альбертас», почувствовал, как на плечо опустилась тяжелая рука. Вздрогнул, обернулся и обмер: рядом стоял самый настоящий полицейский. То есть не лежачий. Не резиновый. Живой. По-крестьянски кряжистый и, судя по выражению лица, флегматичный. За спиной маячил напарник, вернее, напарница. Маленькая женщина с копной густых волос, выбивающихся из-под форменной шапки. Чуть поодаль, возле ресторана «Стиклю», был припаркован патрульный автомобиль. И как раньше его не заметил? Вот растяпа.

– Вы что такое делаете? – с упреком спросил полицейский.

Чуть не согрел от стыда, представив, каким идиотизмом все это выглядит со стороны. Так растерялся, что сказал правду:

– Такой мороз, что кажется – даже им холодно. Не могу спокойно смотреть, как

кто-то мерзнет. Даже если он – просто лежачий полицейский.

– Спящий, – сказала женщина.

Растерянно переспросил:

– Что?

– Спящий. От английского «sleeping policeman». Это уже потом их стали называть «лежачими», или даже «мертвыми». Не знаю почему. По-моему, «спящий» – лучше.

Зачем-то повторил:

– Sleeping policeman. – Глубокомысленно добавил: – Ну надо же, как интересно. Буду знать. – И совершенно некстати процитировал: –*…и если сон кончает тоску души и тысячу тревог, нам свойственных, такого завершенья нельзя не жаждать*[3].

Совсем дурак. Нашел время и место блистать интеллектом. Шекспир-то тут при чем.

Окончательно смутился и умолк. Думал – навек. Зато заговорил полицейский.

– Приятно видеть такое великодушное отношение к нашим коллегам, – сказал он. – Однако ребята при исполнении, им сейчас ничего крепче кофе не положено.

Обрадовался. Если сторонний человек подхватывает твою шутку, значит, не считает ее безнадежно глупой. Или, хуже того, бредом сумасшедшего. Если же твою шутку подхватил полицейский, это равносильно справке о полной, абсолютной, почти сверхъестественной нормальности. Вот и хорошо.

Решил ответить в том же духе:

– Ну, капельку-то на таком морозе можно. Я вон всего пять минут назад вышел, а уже продрог. А они круглосуточно тут лежат, бедняги. И никто не позаботится…

– Как это – «никто»? – перебил его полицейский. – А мы на что? Неужели думаете, оставим своих коллег без горячих напитков?

– Вот кстати, – вмешалась женщина. – Термосто так и лежит на заднем сидении. Сходи, а? Он тяжелый.

– Тебе все тяжелое, – добродушно проворчал ее напарник и пошел к машине.

– Альгирдас – зануда. На самом деле, капля коньяку в такой мороз еще никогда никому не вредила, – шепотом сказала женщина. – Даже при исполнении. Вы молодец.

Улыбнулся. Протянул ей флягу.

– Похоже, я прикончила ваши запасы, – сказала она, сделав глоток. – Обычно я не такая бесцеремонная, но мороз плохо влияет на манеры. Если будете думать, кого проклинать, знайте, что меня зовут Таня, и с этого дня я ваша вечная должница.

Хотел сказать – какие пустяки, там почти ничего не было. Но тут вернулся полицейский Альгирдас с большим, как минимум, пятилитровым термосом.

– Спасибо, друг, – сказала Таня и принялась отвинчивать крышку.

Из термоса повалил густой кофейный пар.

Никогда не любил кофе, но тут слюнки потекли.

Думал, они сейчас предложат выпить пару глотков. Решил – не стану отказываться, даже если до утра потом не усну.

Однако не предложили. И сами не стали пить. Вместо этого Альгирдас снова подхватил теперь уже открытый термос и приговаривая: «Видите, мы своих ребят на морозе без горячего не оставляем», – принялся поливать кофе черный каучуковый бок Альбертаса.